



Димитрий БОБЫШЕВ



ЗИЯНИЯ





Димитрий Бобышев

Зияния

YMCA-PRESS

11, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, 75005 Paris



Строка - совсем дитя. А кто отец-то?
Ведь я расчеловечусь, я впоюсь
в смертельное братанье с ней, в союз,
и стану вовсе человеко-текстом.

С полусобой сросток, легкий груз -
пока меня имеючи - примите!
Так из каких же уст я отзовусь,
когда Создатель позовет: "Димитрий!"?

Что это было - нравственный недуг,
всего лишь любопытство или шалость,
но с розовым дыханием подруг
душа за целый век перемешалась,

и - нет меня. И - здесь я! Лишний слог
в крестообмене человеко-строк.

Октябрь 1977



МЕДЬ, ОЛОВО, СВИНЕЦ

Хоть медью отрави, хоть мёдом
отравленным наведайся в груди,
хоть изувечь, а под огромным сводом
гармонии отведать – награди.

Припелся я к тебе, о Стоголосьй,
по безголосью ноги сбив, Твой сын.
И жилы мне сгрызает, струны, лозы
конёк твой золотистый – клавесин.

Он тихие фонарики развесил,
звонки свои, гудочки раздарил,
он тихую передо мной разверзнул
такую глубь, что я с последних сил:

– Дай, Ласковый, дай, Грозный, муку, –
вскричал, – но покажи устройство горл,
дающих мёд и медь пустому звуку.
Гармонии отведать я пришел.

А над молчаньем – оловянно-медный
заклепанный в оковах ураган.
Он просыпается, рычит, грозит и медлит...
Ну так скорей сжирай меня, орган.

Я жизнь прерву и в музыку низрину:
о жилами ожги, исполосуй!
А вышел Ты, узнал меня и зримо
лицом повел, как молвил: – Поцелуй!

И голос дал, и глаз, и в руку биту
свинцовую для верности вложил,
и – слышу: – Ты мне службу б сослужил,
когда партиту бы сыграть тебе, партиту.

Март 1962

Я ЖИВУ

Памяти Осипа Мандельштама

Не ты ль, отец, и тень твоя со мною?
Не ты ли шлешь из сумрачных веков
волчание, молчание ночное,
возню серебросерых облаков?

Не так же ль у тебя такой же ночью
век оборотень душу уволок?
Не так же ль на меня ужасной ношей
напрыгивает оборотень волк?

Услышь, услышь, не спи, мой крик прощальный,
услышь, не дожидаясь до зари.
Кто б ни был ты, мой сын далекий дальний,
печаль мою послезно повтори.

Ты еще жив. И я когда-то думал,
любовь не понимая, не щадя:
я жив еще. В груди моей угрюмой
свисает ветвь осеннего дождя.

Беда, беда, - зову я, выбегая.
Навстречу мне желанная беда. -
Убейте меня, что ли, дорогая.
Любовь вас не полюбит никогда.

Но и меня любовь уже не лечит,
а из угла прожорливо глядит.
Сама уже несчастью не перечит,
сама - несчастье, так она звучит:

звенит, звенит надсадною струною
и начинает в ухе звезденеть,
и голос свой примешивает к вою
не смерть, но равнодушие и смерть.

Но и под грохот этого дуплета
улавливает слух военный гром.
Безумная тогда выходит Грета
и Брейгеля дрожит серебряный дом.

Но тихо, тихарями, мастерами
идем мы на работу. Город спит.
И родина народными руками
добротное убийство мастерит.

Как много дел бесчестных и опасных
мы делаем усердно по утрам,
и кое-как сколачиваем наспех
бессмертие свое по вечерам.

А неслуха не любит век железный -
служи или молчи. Не замолчу.
Отец мой давний, сын мой неизвестный,
меня уж нет... Но вот же я, звучу.

Август 1961

ИДИЛЛИЧЕСКАЯ ОДА

Людская речь себя навек хранит
в словах такого гордого покоя,
что только для произнесенья их
уходят люди в церковь или в поле.

Те словеса – что звезды по ночам,
и в тишине особенно громово
идут они, как бы из тех начал,
когда всего началом было Слово.

Вот потому и чувствует язык
во рту блаженный привкус русской речи,
и я к нему с годами не привык.
Я только стал заметно реже, реже,

лицо все реже к звёздам подымать,
сирень к лицу, а дно бокала к небу,
но, слава Богу, начал понимать
всю цену молоку, дровам и хлебу.

И речи незатейливой цена
передо мною подлинно предстала,
как на слова "Сегодня ты бледна..."
замедленный ответ "Я так устала!"

"Ну, посиди, я принесу дрова",
потрогал печку: "Печь совсем остыла".
Из комнаты вдогон ему слова:
"Там холодно, надень-ка шубу, милый".

"Да незачем, я так". Закрылась дверь.
Потом открылась снова. Стук поленьев.
"Всё холодно?" – "Всё так же". – "А теперь?"
Она, помедлив: "Вот теперь теплее".

Сидят, молчат. И длится тишина,
и печки ненавязчивое пенье.
Не в этом ли молчании цена
какого-то - тверского, что ль, - терпенья?..

И смысл полубезмолвных этих слов,
где о любви не сказано ни слова,
не в том ли, что смирение и любовь
их суть и речевая их основа.

А те сидят у печки. И опять
забота проступает сквозь дремоту -
она ему: "Ложись-ка, милый, спать",
а он: "И то. Ведь завтра на работу".

Январь 1964

СТРОКИ

Свежий голос ручья из распадка,
быстрый высвист из птичьей груди, -
и сложилось мгновенно и шатко:
- Если любишь меня - подойди!

Но, - случайно ли? - Фраза лесная
попадает в само существо:
только так и любить бы - не зная,
Боже, толком-то даже - кого?..

И в беспамятстве или в бесцельи
через мох, через нежную грязь
вот сочится же из красной щели
струйка жалкая, книзу вьясь.

Глина, прах отзываются, что ли,
на которых замешен и я,
только нет здесь ни счастья, ни воли, -
лишь волнение любовное в горле
да прозрачные вскрики ручья.

Сентябрь 1969

СОНЕТ

Словесность – родина и ваша, и моя.
И в ней заключено достаточно простора,
чтобы открыть в себе все бездны бытия,
все вывихи в судьбе народа-христофора.

Поток вокруг ног брэнчал залиvisto и споро,
и приняла в себя днепровская струя
перуна древний всплеск с плеч богобора,
и плач младенчика, и высвист соловья.

Народу своему какой я судия,
но и народ пускай туда не застит взора,
где радужный журавль, где райские края,
где песнь его летит до вечного жилья...

А впрочем, мало ли какого вздора
понапророчила нам речь-ворожея!

Сентябрь 1971

СПРЯМЛЕННЫЕ ПУТИ

"Поезд прибывает на вторую путь".

Из громкоговорителя

1.

Еще проверите, я верно говорю.
Пусть город наш чугунную зарю
стыдится окунать в пластмассовые лужи!
Когда-нибудь, когда не будет хуже,
мы слово исцелим словесностью от стужи
и ту же путь не пустим к букварю.

2.

Любуя грамоту читающий с листа
Набоков, он же Сирин, неспроста
сказал про нашу речь – подросток захолустья.
Обидно, да, но есть у нас холуйство,
и кости в языке спрямляются до хруста,
едва свобода освежит уста.

3.

Но я хочу ему напротив подчеркнуть,
что у письма есть храмовая суть,
и не в стилистико-медовых ароматах, –
скорей – в полумьчаниях громадных,
где исказился честный лик грамматик,
и вся скривилась правильная путь.

4.

Хрусталик ока замутненный и хрусталь
родного говора врачует Даль.
В черновики времен! За ним – до Вавилона...

В семантику, до семенного лона
и далее, откуда стоном Время Оно
заносится в новейший календарь.

5.

И что же? Всё путем! Не мальчики – мужи
впряглись уже в словарные гужи.
Распашем же, распишем лист ЕДИНЫМ СЛОВОМ.
Сперва – с заглавной, корень всем основам,
а после – с прописной, – и мир перебелован...
А наша речь отменна, не скажи!

Январь 1972

ЧТО-ТО ЛЕПЕЧЕТ

Что-то лепечет листва верховая -
это ночной Велимир, колоброд,
так выдыхает свои волхвованья...
Так, что изнанкой навыворот - рот!

Чуешь, и чувству такому не веришь,
но по вершинам идет налегке
наш коренной председатель и дервиш.
Только стихи невелиются в мешке.

В них разливаются чудью озерной
меря да кривичи с весью лесной.
То неразвернут язык, то разорван -
странно опасный, чудной, озорной.

Вместе - не каждым листком или словом -
общей листвою древлян и древес,
ясенной вязью и маслом еловым
скулы черёмит, шалит, куролес.

Как из ручейного бучила - вычур,
свирь саранчевую, птицын чирик -
прямо живьем, целиком закавычил
пращура - в свой белойой черновик.

Но не дремуч - лишь юродив и странен;
так и велит повернуть и не ждать
бывший на нашей земле будетлянин:
- В путь - сквозь былое - за будущим -
вспять!

А упредят грановитые зерна
в нужную смерть - через прошлое - зов! -
что ж! И предтече отстать не зазорно
от воскрешателя мертвых отцов.

Общее дело листвы – облетанье...
Страшно сказать, но земля всё родней,
всё обитаемой в ней стала тайна:
труд сокровенных и сладких корней.

Январь 1977

ГРИФЕЛЬНАЯ ОДА

"Река времен в своем стремлении..."

Державин

"...И долговечней царственное слово".

Ахматова

Уносит всё река времен...
А что и остается,
тому конец определен,
и вечностью пожрется.

Но длительнее всех примет
для шествия земного,
повидимому, все же – нет,
не царственное слово.

Но жалкое, но – в свой же мрак
до Божьего огарка
так пролепетанное, так
прорыданное жарко,

что часть предвечную, алмаз,
светящуюся точку,
на время вложенную в нас,
течением лет проточит.

И та взойдет по крутизне,
прорезанная блицем,
как бы на рисовом зерне
писцом бронзоволицьм.

Сольется крохотный карат
с плакущею бездной...
...Так не корить же, не карать, –
спасти Отец небесный

сораспинаемого смог
за миг перед кончиной!
А жизнь... Что наша жизнь? - Предлог?
- Для песни лебединой!..

1974

СЛОВА

Был извилисто-телесным,
задышал и стал словесным
оркестрованный мотив,
устье кверху обратив.

И по розовым излукам
полусмыслом, полузвучком
тайно вспыхивает грань,
и блаженствует гортань.

И в самом произнесеньи,
из словесной тесной зерни
порождается на миг
жизни маленький двойник,

чуда крохотный источник,
беглый смысл, минутный очерк
человеческих потреб
и божественный портрет.

Целомудрием покрова
немота объемлет Слово,
но обмолвки тишины
в языке разглашены.

С ним согласны равно оба -
небо звездное и нёбо.
Ну какой же это враг:
и солгал бы, да никак!

Только звуки у Глагола,
непомерного для горла,
пострадавшего за ны, -
страшны, влажны, солонны...

1973



В И Д Ы



1

СЕНТЯБРЬ, ОКТЯБРЬ, НОЯБРЬ

М. С. Петровых

Прозрачен, и сетчат, и пуст,
редеет осенний куст,
и, вбита, как красный гвоздь,
рдеет на нем гроздь.

И, роя себе меж туч
колодези, кладези, луч
залился таким серебром,
хоть черпай его ведром.

В рогожи увязанный сад,
ухоженный, так волосат,
что осень в телеге с мешком
и вовсе мужик-мужиком.

Ноябрь 1962

КОГОТЬ

Улавливая голыми руками
разрыв пернатого снаряда
(кнутом настигнутого ястреба),

пастух,
как скареда, его в брезент,
в раскрытый раструб,
не вынимая завтрак из мешка,

суёт,
замешкался -
картофелины, хлеб
помолоты резиновым ботфортом -

бой оперения -
туда его, туда -
когтящего...

Улавливая голыми руками
настигнутого ястреба,
пастух,
уже не понимая кто кого
когтит,

суёт его,
суёт его пропеллер или спицы,
неважно,
всё туда, в мешок, в мешок,

поехала клеенка от плаща,
соль из тряпицы высыпалась, гложет
порезы.

Глаз.
Неважно.
Снова глаз

сухой пощечиной крыла его ушиблен.
Шипенье, клюв
и костяной язык
всерьез уже грозят другому глазу.

И - сразу
за спину мешок
с обломком птицы,

спуск ископченный прошел,
за валунами,
(над валунами вилась ястребица),
за валунами изгородь была,

он уходил, согнувшись,
словно коготь,
прошивший дождевую мешковину.

Так и вошел в околицу села.

Август 1967

В НЕБЕСНОЙ МАСТЕРСКОЙ

Может, и тепло несет Гольфстрим,
только едет холод вместе с ним.
Полуфабрикаты облаков
он привез, сгрузил и был таков.
А Варварин розовый погост
заготовки туч хватает в горсть
крестопалой кистью и всеядным
в зев суёт зеркальным водам Яндом
озера. Вечерняя заря
зря не светит, тучи краской метит,
в озере их месит и густит,
небу для фундамента мостит.
Скит небесный!
Запад - выход в бездны,
с миру красный выезд через грудь
на тропу с белеющей булыгой
к пристани ночной Губы Великой
с перекрестка и на Млечный Путь.

1966

НИЗКОЕ МЕСТО

Не пройти б тебе через болото,
если б не случилась эта гать -
чья-то полусгнившая работа,
плотника дорожного, кого-то,
кто под треугольником кивота
сам уже истлел, но вот смотри-ка -
помогает путнику шагать.

А, видать, старался горемыка -
плотно мастерилась эта гать,
чтобы за неделю смог-калика
до часовни, что была - владыка,
а теперь - с травой равновелика,
пред глаза давно слепого лика
и домой за праздник дошагать.

А переберешься через гать
и дойдешь до местности лесистой
мимо развалюхи неказистой
до постройки истовой и чистой -
около нее подольше выстой
перед тем, как дальше зашагать, -
и тогда в компании артельной
помяни молитвой самодельной
в волости безлюдной, многоельной
эту пригодившуюся гать.

Март 1967

ТРОИЦА

В.Преснякову

В мягкой серебряной соли – коричневый снимок,
миг распластался на снимке, приплюснут и тонок,
и непонятно, кто тонет во времени – инок,
или турист, или, может быть, ссыльный подонок.

Только, куда б ни несло его праздное время,
где б ни щемил узкой щелкой затвор аппарата –
в мягком архангельском прахе иль в стихотворенье –
всюду страхуют с боков его разом два брата.

Вместе и тонут – в словах, в проявителе, или
тонут во времени – трое с простецкой артели
в кадре по пояс, и в прошлом по горло, и всплыли
над головой – колокольни, дома, колыбели...

1967

КОГДА ИДЕТ ГРОЗА

В. Шатовалову

Когда идет гроза над хлебным полем,
кладется крест движением невольным, -
слоновая гримаса в небесах
на этот грех всех тех, в безбожьи слабых,
трясущихся на грозových ухабах,
толкает под руку. И переходит страх
в крах подлинный. Слетает с душ мякина
и пух. И тянет пылью из овина
и чепухой успехов и утех.
Но смотрят из березовых прорех
спокойно
лемеха Петра и Павла...
Они себя от Симона и Савла
давно отшелушили, как орех.

1966

ВЕЧНАЯ ВЕСНА

Вянет листва,
и калитки могли бы расплющивать пули -
так замкнули
казенные хозяева
свою дрему с обеда на стуле...

Пыль по реке
из Черёповца тянется вместе с жарю.
Бороду брею -
смыть приходится мыльную кровь на щеке
той же водою...

Та же река
предо мной запирает бетонные шлюзы,
и сухогрузы
издалека
и заборы поближе похоже сверяют бока...

Узко пока
заходить - широко выйдешь после в просторы!
Красные створы
путь укажут, где вечная будет весна.

Это Шексна
мертвый паводок так чудотворно разлила,
будто весна,
будто время, как в шлюзах, стотонная сила
остановила,
а сама - на подводные крылья, и - словно блесна...

Мчит Метеор,
а вокруг-то ни граю, ни птичьего гвалту,
по Волго-Балту,
вешний простор
по Волго-Балту который уж год, до сих пор,
по Волго-Балту.

Март 1968

ОТВРАТЯСЬ

От смолистой крепко гнутой прямоты,
груботесанной души и высоты
и со деревянные кресты
двадцати-дву-славно-главой крыши
тяжкой, перегруженной до грьжи
и на срубе выведенной, иже
есть среди погоста, кой есть Кижы, -
полутора-мерные кусты
иль полу-деревья - вострят лъжи
и - гуськом по гребню - выше, выше,
к пахоте б щебенчатой поближе
да подальше бы от лепоты
тянутся.

В растительном миру
все они - расстриженные братья,
скрученные на сыром ветру.
Чтоб срамнее было - на юру
каждый - воротник рванул у платья.
Все-то вы - души самораспятья -
все мы - суковатые проклятья -
мол, своей судьбы не смел понять я,
а чужая - нет, не по нутру.

Март 1967



В руках у сплавщика дела решает вага
еловая, - в стада катает лес,
и брёвна в лесобойню тащит влага,
но гибель им под пилами - во благо,
и смерть еловая - еловый интерес.

А у воды вилявой нет подобной цели,
и в сгибах надобности загнила река:
там, задыхаясь, часто дышат мели,
тут мрут кряжи на илистой постели,
покуда не задохлись в топляка.

Их суть - огонь и сушь, они ж -
как раз - утопли,
набрякли слизью, - трудно произнеть -
коснеют их глухонемые вопли,
размазалась кора в коричневые пули,
молчанье - как мычанье - тоже весть.

В круговорот золы, гвоздей, опилок -
нету лаза,
а значит: либо жизнь дается зря,
на выброс, либо эта ржа да тля,
да спекшихся намерений зараза
их разлагает до другого раза,
пока не даст природа кругалья.

1968

УТРО ВЕЧЕРОМ

На закат оглянётся – в глаза так и сыплется
гнус,
ткёт на коже волшебный узор комариный укус,
волчьих песен умеет зырянская лайка немало
и у фляги молочной их пробует тоже на вкус.

Но не хуже мошки, и крапива не так дожимала,
как вечернего к северу тока струя у привала
и ночная пора, пропадавшая в струях; глядишь –
у костра леденеешь: восход воспаляется ало...

В лапу рубленный угол у дома и крепкая тишь
нерушимы для трактора будут, и разве что лишь
невзначай обстучит ветерок у фарватера в створе
череду вековую, вдвойне озаренную, крыш.

Видно, крепко схватились над ними две равные
зори...

Здесь не время течет – тихо морщится что-то
в просторе,
и свобода по-русски – стократ повторённая даль.
Воля местная! С тем и выходишь на взгорье:
в столь румяную полночь пусть радостной станет
печаль!

1969

НА КРАЮ

Дико разруганное небо,
и землистость привозного хлеба
на краю скоблёного стола...
И была б хоть в этом неминуемость!
Притерпелся, полюбил бы, мучась,
да одно беда – своя вот участь
где-то мимо дому пробрела.

17 сентября 1967

ЗАБЫВШЕМУ СВЕТ

Жилье впечатано во тьму,
как будто из окна наружу
дано светить ему
и сдабривать худую лужу.
Молчит, молчит,
а не скворчит она,
хоть отражение окна, —
как шкварка, путнику на вид.

Нет, свет в себя, вовнутрь глядит.
Он видит: выехал хозяин,
стол гол, дом пуст, повсюду убыль;
как аннулированный рубль
и как невыплаченный заем,
свет, бесполезностью терзаем,
оскалился.

Пылится перст,
грязнится риза чудотворца.
Першит от мусора и ворса
у ступы сиплое жерло.
Оно в скругленный угол, в крест
себя случайно навело.

Впустую сорок ватт горят
в густую ночь, в пустое утро;
на воронце в порожний ряд
пустая выстроилась утварь.
Гниет венец, всему конец,
стропила угрожают хлеву,
на пашню наступает лес,
крапивой к небу
стрекает сорная земля...

Какому мраку на потребу
скормил ты свет, стравил свои поля!

1966-69

ЛЮБОЙ ПРЕДЛОГ (ВЕНЕРА В ЛУЖЕ)

Зрит ледяное болото явление светлой богини...
Пенорожденная – вниз головою с небес
в жижу торфяно-лилейную под сапоги мне
кинулась, гривной серебряной, наперерез.

Бедная! Белая – в рытвине грязной она
отразилась...

Видно, и в самой ледащей из наших дорог –
лишь бы вела! – с ней замешана общая милость
низкому озеру Вялю и острову Милос,
и пригодится для чуда любой заваливший предлог.

Вот и гляди в оба глаза на мокрые плоские глади:
чахлые сосны, коряга застряла как хряк,
да лесопилка сырая всё чиркает сзади;
в кучу слежались опилки, и будка на складе
в серых подтеках глядит – отвернись от меня,
Бога ради!

Это ведь родина. Что же ты плачешь, дурак!

Ноябрь 1967



Как топор без топорща
медленно по звёздам рьща,
выйдет месяц на ущерб
над гниющей деревней.
В тишине, без ударений
он навалит нежных щеп.

Без усилия, дремотно
даст он видимость ремонта, -
полуночный доброхот, -
стешет преющую слегу,
вставит, вынув из высот,
в безобразную телегу
шкворень лунного стекла.

Боже! Сколько в мире зла,
залитого свежей ложью,
где бездействуют дела,
и откуда жизнь ушла
в города по бездорожью.

1967

2

ВИДЫ

Не декабрь, а канделябр-месяц:
светятся окурки в глуби лестниц,
светятся глаза иных прелестниц,
зрят из-под зазубренных ресниц;
светят свято купола Николы,
охлаждая жар, и окна школы
отбивают явно ямб тяжелый
и зеленый блеск наружных ламп.

На полметра высунулись ровно
в водостоках ледяные бревна,
нарисован город столь условно
сразу после оттепели, но
на часах выстуживает время
прапорщик-мороз. Ручное стремя
так само и прыгает в ладонь;
под колено бьет скамья, что вдоль
в ящике раскрашенном трамвая.
Едешь, на ходу околевая,
веруя: мол, вывезет кривая,
ежели не выдаст колея...

Белая, средь белых листьев, роза
в состоянии анабиоза
вдруг нарисовалась на стекле.
Это - мысль мороза о тепле.
Прапорщик-мороз, мороз-хорунжий
мира захотел при всем оружьи,
спирту ледяного, стопку стужи
он людскому вздоху предложил.
Вот и спютыкается прохожий,
и на душу голую похоже
то, что упустить - не дай нам, Боже, -
облако дыханья возле рта
держит он за край, замкнув уста.

Но заиндевел мороз-полковник
и один из видов законных,
словно бы окладом на иконах,
обложил на пляшущих стенах.
Там дома, собор собой закрывши,
и кресты, сияющие выше,
образуют кладбище на крыше,
золотое кладбище в душе.

Столько золотых надежд на чудо
и воспоминаний в нас - оттуда, -
всё должно вернуться из-под спуда,
только не вернется никогда.

Да, но уверяющим залогом
на бегу тяжелом и убогом
вижу я в продышанной дыре,
как с фасадов маски шлют гримасы,
львы встают, и шевелятся вазы,
головокружительные трассы
ангелы выводят в декабре.

1969



Евгению Рейну

Крылатый лев сидит с крылатым львом
и смотрит на крылатых львов, сидящих
в такой же точно позе на другом
конце моста и на него глядящих
такими же глазами.

Львиный пост.

Любой из них другого, а не мост
удерживает третью существа,
а на две трети сам уже собрался,
и, может быть, сейчас у края рва
он это отживающее братство
покинет.

Но попарно изо рта
железо напряженного прута
у каждого из них в цепную нить
настолько натянуло звенья,
что, кажется, уже не расцепить
скрепившиеся память и забвенье,
порыв и неподвижность,
верх и низ,
не разорвав чугунный организм
противоборцев.

Только нежный сор
по воздуху несет какой-то вздор.

И эта подворотенная муть,
не в силах замутить оригинала,
желая за поверхность занырнуть,
подергивает зеркало канала
нечистым отражением.

Над рвом
крылатый лев сидит с крылатым львом
и смотрит на крылатых львов напротив:
в их неподвижно-гневно-развороте,
возможно, даже ненависть любя,
он видит повторенного себя.

Март-апрель 1964

ПОПЫТКА ТИШИНЫ

Вы-ырвало мальчика в метро,
бедному брыжейки развязало,
вывернулось томное нутро
прямо под концертной залой,

где красивый Шопен,
как король голубиный,
"гули-гули" со стен
в залу сыплет лавиной,

и небесный Моцарт
льет, у струн занимая
серебро лунных царств,
а толпа - как Даная,

где из скромных убранств
нас пленяет без лести
скушный ведатель Брамс
гармонических следствий,

и, как лунный резец,
некий ангельский профиль
на тетрадках сердец
наш рисует Прокофьев.

Как музыка пришла к нам на болото,
про это знает Петр,
был в государстве слишком воздух сперт,
звучала в нем желудочная нота...
Понадобились две-три вертикали
тогда на сквозняке сыром.
То ангелом бия, то кораблем,
их в землю утыкали.

И что ж? Случайным инструментом
архитектуры золотой

струна была задета в лире той, -
в решетке, разумею, чугуно-медной.
И вазы ручками на ней махали,
и с хором записных певцов
сладчайше делал знаменитый Фриц
во фразе восемь придыханий.

О Господи, как пел он "Свете тихий"!
Всё б дал, чтоб Фрица услышать.
Замолкни, ямб, умри навек, пиррихий, -
раскрою тишь, как белую тетрадь.

Тихо, тихо пишет снег,
пишет жизни, пишет души
по забвенью их навек,
и вычеркивает тут же.

И на сером фоне стен
вновь записывая, мучит
симфонических систем -
по безмолвию - беззвучьем.

Стилизован под амфир,
тихо рушимый, прекрасен
этот белый бедный мир
в кривизне своих балясин.

Белым крапом снял он цвет,
выпил, высосал объемы,
в точку, в нуль списал, на нет -
линии, узлы, изломы.

Чертит снег, летит мелок -
в стиле нежного кубизма
он рисует эпилог
мирового катаклизма.

Тихо пишет тишиной,
оглушая мяще мнимых
той единственной ценой
истин произносимых...

...Вышел мальчик из земли
бледный изжелта, но тот же,
видит - снегом замели
ветры вечер этот тошный.

Постояв у Дома книг,
вяло думал он: сегодня
проморгал я страшный миг,
дивный миг Суда Господня.

1969

ЧИТАЙТЕ ВЫВЕСКИ

1.

Когда пятак упал, звеня, и БАКАЛЕЯ
просыпала пшено, бранясь в пол-зла,
я видел: вывеска, неонем пламеня,
по стенке, сытая, читалась и ползла.

Я обозвал ее созвездьем зодиака,
а за кефиром в лавку - МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ...
Читали б вывески - не прозевали б всяко
кровавые слова на крыше - кыш, собака!
МЕНЕ ТАКЕЛ ФАРЕС ЭЛЕКТРОПУЛЬТ.

2.

Орлами здравицы уселись двухметрово
и с крыши метят вниз.
А голуби слетелись на карниз
и тоже складывают слово.

И гулят, милые... А мне бы дать им крупки,
да пуст карман, и я иду домой...
Но слышу голос ангельской голубки:
- Покуда нищ, ты - брат любовный мой!

Стою, благодарю, благоговая;
не ТРИКОТАЖ меня ГАЛАНТЕРЕЯ,
и не ХРАНИТЕ ДЕНЬГИ жизнь мою...
Под бравым славословьем - всё вернее
я нищенскую песнь свою пою.

Апрель 1968

ГОЛУБКА

Шелестит, и нежна, и строга,
гулит, губит поклонника... Право,
промолчать, и вся недолга...
Но слепая велела канава!

И откосы, их явный позор,
ломовые их автомобили,
полуслужбы моей полный вздор –
в чем могли, кое-чем пособили.

Правда, мост не смог отразиться тогда –
осрамил его сорный ветер...
Выражение как бы стыда
у ландшафта в тот миг я заметил.

Словно замысла первопейзаж,
в нем перевернутый до окаянства,
увидав, увидало себя ж
так, во всем затрапезе, пространство.

Но выкатила вдруг гром
гроза на кровельном ложе,
с перевернутым кораблем,
не скажу, что с голубкою схоже.

Дождь, рваную снасть, –
струи, ванты – по крышам, по шпилям
протащив, в душу прошлась
и несоразмерным усилием

приложилась... Но матрос от небес,
ветром стянутый в горло залива, –
мнилось – ты, что забился в подъезд,
не успев до звонка с перерыва.

Прошла... И сколь унижен репей,
а и тот в ста коленях сиротства
не за полы теперь,
но к проезжему чуду приросся:

- Отреклась...

Но велела - не меньше, как бездной
мерять нищую страсть
к ней же, гибельной, к ней же, небесной.

К ней, голубке ужасной, и я
до конца привязался... Но что там? -
Метров за восемь была струя,
фонтанируя вниз, к нечистотам.

Городская урыльня, урок
так усвоен тобой голубиный,
что и тот же восторг
льешь позорной лавиной.

И любителей, вижу я, - тьма!
И уж клювы, и крики, и крылья
на такие корма
налетели, и - пир изобилья

чайкам, вижу, а харч их протух...
Но жируют, я зрю, альбатросы,
и, увы, буревестников двух,
отбиравших у крячек отбросы,

вижу я. Научи меня, речь,
быть и противобыть. И к защите ль
у тебя от тебя же прибесть?
Пожалей, вот пейзаж - мой мучитель.

Ноябрь 1968



До чего же она неказистая,
дверь в котельню и та же стена,
но так жарко, так, Господи, истово
и сиротски так освещена,
да и в куче кирпич, так он лыбится,
что свести свои годы вот здесь,
даже в эту оплывшую глыбицу
я бы счастлив...

Но тут кто-то есть!

За трубою и топочным боровом,
перекрещен растяжками труб,
головой об забор особорован,
кто здесь есть-то?.. Как стелят тулуп,
не тулуп он, саму неминуемую
постелив, хоть какую нивесть
самодельную или по случаю,
но свою же, свою... кто-то есть?

И откуда ж - оттуда, не иначе,
так и светит, и видно везде
до гвоздя в горбыле, до крупиночки,
до чешуйки на ржавом гвозде.

Или сам же себя до ничтожества
я довел, да и вот он я весь,
или замысел мой уничтожился,
искажаясь до нельзя, но здесь -
никого.

Только перышко медленно
до шестого, поди, этажа
подхватилось, и там, незаметное,
всё кружит, как живая душа.

1968

ТРАУРНЫЕ ОКТАВЫ



Памяти Анны Ахматовой

ГОЛОС

Забылось, но не всё перемололось:
огромно-голубиный и грудной,
в разлуке с собственной гортанью, голос
от новой муки стонет под иглой.
Не горло, но безжизненная полость
сейчас, теперь вот ловит миг былой.
И звуковой бороздки рвется волос,
но только тень от голоса со мной.

ВОСПОМИНАНИЕ

Здесь время так и валит даровое...
Куда его прикажете девать,
сегодняшнее? Как добыть опять
из памяти мгновение живое?
Тогдашний и теперешний - нас двое,
и - горькая двойная благодать -
я вижу Вас, и я врываю вспять
сквозь этих слёз в рыдание былое.

ПОРТРЕТ

Затекла рука сердечной болью...
Как Вы посмотрели навсегда
из того мгновения на волю
в этот вот текучий миг, сюда!
В памяти я этот облик сдвою
с тем, что знал в позднейшие года.
Видеть Вас посмертною вдовою,
Вас не видеть – вот моя беда.

ВЗГЛЯД

С мольбой на лбу, в кладбищенском леску
в день грузный и сырой, зимне-весенний
она ушла от нас к корням растений,
туда, в подпочву, к мерзлomu песку,
"Кто сподличать решит, – сказал Арсений, –
пускай представит глаз ее тоску".
Да, этот взгляд приставить бы к виску,
когда в разладе жизнь, и нет спасенья.

ПЕРЕМЕНЫ

Холмик песчаный заснежила крупка,
два деревянных скрестились обрубка;
их заменили – железо прочней.
На перекладину села голубка,
но упорхнула куда-то... Бог с ней!
Стенку сложили из плоских камней.
Всё погребеньё мимически-жутко
знак подает о добыче своей.

ВСЕ ЧЕТВЕРО

Закрыв глаза, я выпил первым яд.
И, на кладбищенском кресте гвоздима,
душа прозрела: в череду утрат
заходят Ося, Толя, Женя, Дима
ахматовскими сиротами в ряд.
Лишь прямо, друг на друга не глядят
четыре стихотворца – побратима.
Их дружба, как и жизнь, не обратима.

ВСТРЕЧА

Она велела мне для Пятой розы
эпиграфом свою строку вписать.
И мне бы – что с Моцартом ей мерцать,
а я – о превращениях альбатроса
непоправимо внес в ее тетрадь.
И вот – она, она в газетной прозе!
Эпиграф же – и впрямь по-альбатросьи –
куда вдруг улетел – не разыскать.

СЛОВА

Когда гортань – алтарной частью храма,
тогда слова Святым Дарам сродни.
И даже самое простое: "Ханна!
Здесь молодые люди к нам, взгляни..."
встает магически, поет благоуханно.
Всё стихло разом в мартовские дни.
Теперь стихам звучать бы невозбранно,
но без нее немотствуют они.

1971

П Я Т Н А



*"...Enfolding sunny spots
of greenery..."*

Coleridge



ТРОЕ

Неба гладкого белоголубость,
муравьев глянцеви́тая взвесь,
олеандра нарядная глупость

и цикады откуда нивесть
выводимая в небо рулада -
всё притворно, всё притворно здесь.

Лишь три дуба не вносят разлада
с этой местностью. Вклешился плющ
в сердце первому дубу. "Не надо!" -

этим жестом из лиственных гущ
выдирает он черную зелень.
Словно барс, его груз - сердце рвуц.

Но атлет из могучих расселин
на врага оголил твердый сук.
Только мощью он не беспределен.

Основанье второго вокруг
охватила кривая колонна
и - до хруста - кольцом смертных дуг

сокрушает бойца неуклонно.
И у петель в плену и колец -
змиеборец - у Лаокоона

взял он позу себе и конец.
И сошел его счет со столетий
на года. Но еще есть борец.

Да, но высосан досуха третий!
Отчѐго же его душегуб
не ликует, и хищные плети

свисли? Свет ему, что ли, не лоб?
Обессилел, вознёсшись, убийца,
победителем стал мертвый дуб.

Честь и гибель – вот участь любимца,
кавалера тех доблестных мест,
где куначество не истребится.

Никогда. Вот вам каменный крест.

1963

ВОЗМОЖНОСТИ

Всей безобразной, грубою листвою,
среди остальных кустарников изгнанник,
лишенный и ровесников, и нянек,
всерьез никем не принятый, ольшаник
якшается с картофельной ботвой.

При этом каждый лист изнанкой ржавой
уж не стыдится сходства с той канавой,
в которой грязнет, глохнет каждый ствол.

И гасится матерчатой листвою
звук топора, которым огородник
старательно пропальвает свой
участок от культур неблагородных,
остерегая весь окружный лес
селиться на его делянках, здесь.

И валится ольха. Но не на отдых,
а сорняком и плевлом от деревьев.

Из этих веток, в стройке непригодных,
хозяин настиляет пол на сходнях,
чтоб выбирал он грязь из низких мест.

И к небесам взывает красный срез.

А новые растут из торфа, глины,
и у провисших в озеро небес
нет дерева прекраснее ольшины,
когда она свой век до половины
догонит, не изведав топора:

и лист по счету, и узор вершины,
и чернь ствола, и черные морщины,
и в кружевных лишайниках кора,
протертая на швах до серебра, -

приметы так отточенно-старинны,
что дерево красавицей низины,
казалось бы, назвать давно пора,
и впереди ветвистого семейства
она по праву заняла бы место;

в ней всё – и шишек прихотливый строй,
тушь веток и законченность их жеста,
и поза над озерной полосой,
и стать, посеребренная росой –
всё поражает поздней красой.

Но есть в ней отчужденность совершенства.

13-14 сент. 1965

Не то, что мните вы, природа...

Тютчев

1. Начало

Сквозь облако в поляну луч
вонзился, щёкотно-колюч,
и мелким, пусть,
но жарким рвеньем
закопошился муравейник;
и задьшала медленная грудь -
не ведомо - испугом или смехом.
Не зная, охнуть ей иль хохотнуть,
она исходит светом.

2. Пятно

Себя накапливает день,
гудит и лиловеет тень,
гудят шмели,
и что-то шевелит листом,
и тихо веет от земли
большим теплом...

3. Взгляд

Запятнанный теплом и светом,
луг загудел тенистым,
зазвенел нагретым
медовым золотым пятном;
и навзничь в небеса срываясь, пчелы
летят, на миг увидев кверху дном
мир подгулявший в час его веселья,
и этот вид уносят густосёлы,
как взяток, в дом.

4. Воздушные пути

Тепло столбом уходит вверх,
съезжает под углом прохлада,
среди запахов дорога аромата
извилиста и как река поката,
прерывисто порханье мотылька.
И серебрится легкая мошка
и тучкою толчется серовато;
вверху плывет прохладная громада,
и взгляд скользит, и сам уходит вверх.

5. О прохладе

О чем она, когда так жарко?

Вот полдень 'вперевалку по полям
прошествовал, а в бороде солома...
Пробрался через лес, и дома,
и машет, приглашая: - залезай-ка...,
сюда...

Но где тут небо, где лужайка?

Цветы и пятна пополам
прохлады ищут от истома.

Со звездами цветы, видать, знакомы,
когда они - точь в точь - полночный план.

6. Посредине

Откуда-то из самых нижних недр
весь вымахав охапкою воздушной
и распушась, и воздухом надувшись,
в каком-то великанском простодушии
приваживает к небу стать свою,
поляну, лес и беличью семью,
пылающую на ветвях, как свечи.
И поминутно внутрь ныряют векши,
орешки достают из хвойных недр.
И замечает жаркою метелью
связавшего себя небесной целью,
и кажется рождественскою елью
многонесущий кедр.

7. Поляна ждет

Сбегая, мелкое зверье
легонько покогтит ее,
и даже, может быть, из них
один прижмется к ней на миг,
хотя бы и один из всех -
сердечко простучит сквозь мех,
и вся, счастливица, замрет...
Поляна ждет.

8. Земляные ходы

Земля нагрета, и семья маслят,
хоть червячками все они кишат,
по сути все же радостно-здорова.
И в почве бродит СЛОВО.
Но кто пророет словом этим рот?
Кто ж выразит, пусть косо и нелепо,
и сослепу, да правду, как не крот,
ушедший вглубь от голубых пустот,
что слово это - НЕБО?

9. Перемена

*Всходит месяц обнаженный
При' лазоревой луне...*

Брюсов

Кучами земля чернеет.
А в траве по серым кучам
желтый луч навеселе
проскакал, упал и тлеет
на сиреновой земле.
Эти розовые кучи,
багровевшие лилово,
только что синели - снова
в темени уже чернеют.
Небо плавно вечереет.
И сплываются на дно
и тьма, и тишь - в одно.

10. Без конца

Звезда в потемках заблестала...
Укронное огромным стало,
и всей вселенной нехватало
поляну сонную вместить;
тогда небесная поляна
уже без умысла и плана
вниз головой пошла, как спьяна,
во-всю соцветьями светить.

Декабрь 1965

Д Н И



РУКОПИСЬ

Среди шипов и листьев - клюв и глаз,
неразличимы птица и растение,
неразделимы автор и творенье
до времени.

Хоть краток этот час,
пускай еще понежится рассказ,
пока твердеет соль мировоззренья.

21 марта 1963

ДНИ

Сестры, от всех болезней панацею,
беру я край одежды и целую,
его отводит крупное дыханье,
но братом я себя не назову.

Бывали дни большой просторной жизни...
А может, у святого Себастьяна
под ребрами торчат чужие взоры?
Но оставайся ты моей сестрой.

1968

ОБЛАКА

Сергею Зушковскому

Гляди почаще вверх и выше
на облаков небесных тишь,
гляди наверх, и ты увидишь,
как неподвижно ты стоишь.

Как неподвижная планета
непостижимо велика,
и в тишине над нею где-то
плывут, проходят облака.

Над занемогшими полями,
над замирающей землей
они плывут над всеми нами,
у всех у нас над головой.

Стоят мосты и часовые,
и от штыка не дрогнет тень,
стоят пути полосовые,
на полустанке дремлет день.

Стоят станки в своей работе,
стоит, глядит в себя завод,
застывши в утренней зевоте,
стоит спешащий к ним народ.

Сидят на лавочках деревни,
лежит в излучинах река,
стоят отдельные деревья,
их обтекают облака.

Вдоль человеческой надежды
ведет, ведет куда-нибудь
из дней пропащих, лет ушедших
в года грядущие их путь.

Стоят деревья, горы, годы,
течет небесная река,
стоят дела, стоят народы,
плывут над ними облака.

С поклажей света и прохлады
плывут вдоль жизни, вдоль земли
огромно-тихие фрегаты,
свободных далей корабли.

Они плывут, не разбирают
широт, долгот, веков, часов...
И ветер вечности вздымает
строй белоснежных парусов.

Май 1963

НЕСРАВНЕННОЙ



Несравненной твоей красотой
повороты реки, шорох леса, дыхание поля
не увлечь на сравнение с тобой,
не отвлечь от тебя, чтоб они повернулись бы, споря
с несравненной твоей красотой.

Как бы ни были дружески общие взмахи ветвей,
не найти среди них лишь к тебе обращенного жеста.
Разногласна природа с гармонией лишней твоей.

Заглядевшись сходством своих облаков и полей,
нет ей дела до твоего совершенства.

Июль 1965

ШКОЛА ЗИМНИХ ПЕЙЗАЖЕЙ

Хвойно-лиловы и еловы
среди поселка вертикали,
они, как сваи, как основы,
скрепили с небом снежные дали.

Среди холмов густеют тени;
а розовый под солнцем склон,
как опрокинутым растением,
двойным извилистым черчением
голубовато испещрен –
каракулами слаломисток.

Извилист и азартен визг.

Вот так и летел бы он, неистов,
как сучья в небо, как лыжи вниз,
но в темно-голубых высотах
два движенья белых, сонных
повел в обход своих межей
дозор небесных сторожей.

И вечер этот черно-красно-зимний
весь оказался как в корзине,
сплетенной из ветвей и лыж,
решеток непокрытых крыш,
а двух пилотов плавная петля
корзину в узел увязала,
когда и уместилась вся земля
в круг, освещенный у вокзала.

3 февр. 65

И ЗРЕНИЕ, И СЛУХ

Елене Шварц

Зеницу глаза абразив созвездий
у астронома острит и гранит,
и на сетчатке оседают вести.
И, оснащён глаголами планид,
своей полусестре-полуневесте
он посылает взгляд многоочит
и видит: белый камушек на месте
ее сердечка в темноте стучит.

Когда окном небесного ночлега
мне голубая искрилась звезда,
я думал: Виноградинка и Нега
(так светоч называл я иногда)
мне посылает направленье бега.
За Лирой балансировал туда,
по этой струнке, голос мой, но Вега,
должно быть, отвернулась навсегда.

И новыми наплывами запела
в сверканьи херувимских горл и крыл
благословенно-яркая Капелла.
Казалось, я навеки насладил
и зрение, и слух, и дух, и тело,
но колесницу с нею укатил
Возничий вдаль от моего предела...
Тогда я отвернулся от светил.

И вдруг увидел, что крупинкой льдистой
на камушке замерзшая вода
мне отражает самый центр диска.
Небесный центр – на крупинке льда!
И вот уже в глаза мои глядится,
луч преломив, Полярная Звезда.

Так видел Дант мерцанье Парадиза
на самом дне страданья и стыда,
так дважды преломленный луч традиций
упал случайно в этот стих, сюда.

- Но морехода взор и слух радиста,
ведущие Улиссовы суда,
в Медведицыных ласках возродиться
сумеют ли? Рассеянное "да..."
бормочет мне глухой и ломкий дискант,
да камушком сердечко иногда...

10 февр. 73

Л Ю Д И



W

Вот солнца луч. Он точит ли стекло?
Течет ли под лежащий камень?
Приносит ли в ладонях Лужниками
цыплячее – комочками – тепло?

А воздуха громадная гора
хоть и грозит обвалами прохлады, –
тяжелые купальные халаты
все ж нам подбила ватую жара.

Вот держит планетарную модель
на белом пляже мальчик в алых плавках,
и маленький летит орел, и в лапках
несет недоумения людей:

Что солнца луч? Он свет или тепло?
А что земля – вселенский ли солярий?
иль огород? А может – планетарий,
чтобы глядеть на лунное табло?

Тебе природа кажет свой портрет.
Ты наблюдаешь лик ее превратный.
И все ж великолепный и парадный
ее спектакль тебе не досмотреть.

Еще скажи, отважный мой мальш,
тень малого орла не отгоняя:
тепло и свет в себе соединяя,
прервешь ли ты заживленную тишь?

На ящерку орел твой так похож.
Изо щелей глядит он мирозданья.
Он выклевал тебе уже заранее –
не в печень ли? – забравшуюсь ложь.

Так что же ты, что ты, ох жизнь моя? -
Глоточек сладкий в горьком море Леты...
Смеясь на берегу небытия,
вращает мальчик легкие планеты.

1961

2.

Иосифу Бродскому

Жизнь достигает порой
такой удивительной плотности,
что лицо разбивается в кровь
о кулак ее милости, скорости, святости, подлости,
кротости.

Попроси, и расскажут тебе
летчик, гонщик, погонщик коней и ныряльщик -
может выломать руку в локте
многотонного воздуха ящик
с жутким свистом мимолетающий.

Только ночью, себя от него отделив одеялом,
ты лежишь, семикрыл,
рыжеват, бородат, космоват,
и не можешь понять, кто же ты - серафим или дьявол?
Основатель пустот?, чемпион?, идиот?, космонавт?

Февраль 1964

3.

Себе, преображенному, навстречу
лететь через тяжелые толщины
личинкой солнечной и человеческой!
И бегом бегу времени переча,
отсчитывать обратно годовщины,
себе же вымолаживать морщины, –
и скважину заткнуть вселенской течи,
как вырвать результаты у причины.
Не проще ли в метро, и – до конца!
Всё скачет мрак, но вверх идет уклон,
в бесхлебной невесомости вагон
качается... Вдруг свет со всех сторон:
мы вырвались! И вот плывет перрон
над городом без смысла и лица.

15 ноября 1970

4.

Посвящается VV

Чем правит человек?
Своим конем,
чужой машиной, им же раскрежешенной,
продленным за полночь электро-днем,
себе подобной бесподобной женщиной.

Что правит человеком?

Тот же конь,
его понёсший горными карнизами,
машинный ритм, ему дающий корм,
ночные страхи, женщина капризная.

Что хочет человек?

Своих свобод
соединенно стать одним хозяином
и навсегда закрыть могильный рот,
в любой момент откуда-то раззявленный.

Чего не хочет он?

Своих свобод
устроить, наконец, большие розыски
и поделиться от земных щедрот
с другим таким же по-людски, по-божески.

Чего он стбит,
век ему челом?

На всю людскую численность делённую,
но и одновременно целиком
всю в звёздах изумлённую вселенную

Чего же он не стбит?

Ни следа,
что провела в снегу его же лыжина,
ни даже за него же и стыда
безмолвной твари, им же и униженной.

Умеет стать он, век ему лицом,
цветком и плугом, тварью и творцом.

1972

5.

Анатолию Найману

Куда уходит жизнь! Должно быть - в обмолот,
на перемол, в муку - и вкус ее, и мука.
И в каравай-страна, и в колобок-народ...

Иль строчкой вымаранной промелькнет
в черновиках у друга?

1968

6.

Наталии Каменцевой

Как бы молоды мы ни были
теперь, когда пишу, -
все одно на вас из книги
устаревшим я гляжу.

Этот лист я вижу белым, -
он иной для ваших глаз.
То, что нам белейшим было,
желтым кажется для вас.

И звучит, что песня старая,
эта песенка про то,
как жена моя Наталия
одна сидит в пальто.

Словно бы душа и тело,
так же были мы вдвоем.
Что же я теперь наделал,
чем до слез ее довел?

Почему же, с виду прочно,
ощутимое на вид,
наше счастье, как сорочка,
ненадёвано лежит?

И не Лермонтова парус,
и не Рильке блудный сын –
это я себе направился
в соседний магазин.

Вроде сам искал, где плохо.
Отчего ж заголосил,
как в Двенадцати у Блока:
"...эту девку я любил..."

Не хотел ее обидеть,
а пришлось совсем сгубить –
всё от страха быть любимым,
от желания любить.

Потому ль, что общий опыт,
данный мне на одного,
торопил и сейчас торопит
на себе постичь его.

Был я жертвой, был и вором,
надрывателем сердец,
только вдруг за мягким флёром
я увидел наш конец.

Как он близок, дорогая!
Но не бойся. Не забудь,
что любовь ведь – убежание
от него ко мне на грудь.

Только ты, сказать не смея,
всё молчишь, как чистый лист.

Так беги, дружок, скорее
и у сердца притулись.

И тогда конец не скоро,
и, когда б он ни настиг,
за сердечным разговором
проморгаем этот миг.

Всяк любивший, но умерший,
не успевши разлюбить,
тем и жил, что ты сумеешь
за него любовь продлить.

Так прошли и наши жизни.
И сошла судьба моя
в основание отчины,
что топтал при жизни я.

Источилася одежда,
пожелтела наша кровь...
На тебя одна надежда.
Выручай теперь, любовь!

Ноябрь 1963

7.

Наталье Горбаневской

Скажи, зачем почтовый стук ракет,
откупоривших землю, как бутылку,
тебе телеграфировал портрет
немыслимого лунного затылка?

Поверь, не там зарыт заветный клад:
их под ногами звякает немало.
И что с того, что звезды говорят,
когда земля весь век тебе молчала?

Она всегда бутылкою плыла
по волнам своего же океана,
и некая записка в ней была
размыта неизменно, постоянно...

Не в том, конечно, суть, что ты узнал,
не в том, что получил, а в том, что дал.

Как это было с лапотником дедом,
забывшим завтрак, так пошел опять
тот узелок твой с молоком и хлебом
по мелколесью звездному гулять.

Ходи, гуляй, любезный колобок,
хотим тобой мы с небом поделиться,
скорей же попадайся на зубок
какой-нибудь космической лисице.

Ты, отделившись, канул невозвратно,
чтоб та записка стала нам понятна.

И литеры, как будто семена,
вдруг проросли и проступили резче,
и вот заговорили письмена
горячей спотыкающейся речи,

и тут с листа раздался хор предтеч,
так слушайте его прямую речь:

"Мы - всякий люд, до ваших дней усопший,
как вы теперь, мы жили у земли,
и прожили себя; но в голос общий
мы каждый по словечку занесли,

по буковке; мы для того и жили,
письмо инициалами сложили,
так проследи, как наши имена
в такие вот сложились письмена -

Ландау, Юрский, БОбьшев и НОЙ –
все очевидцы истины одной,
Ликок, Юл Бриннер и Вивальди – каждый
ЛЮБВИ желал, ЛЮБОВНОЙ полон жаждой.

Будь он хоть кем: валютчиком, уБИЙцей;
случись он Лодочником, Юношей, ДевицЕЙ, –
весь этот хор безмолвный все слышней
одно тебе твердит: ЛЮБИ ЛЮДЕЙ!

Люби людей, чтобы тебя любили,
люби за то, что некого любить,
люби затем, чтоб люди вечно были,
люби затем, чтоб самому прожить.

Люби живущих и люби умерших –
весь отлюбивший, стихнувший народ,
люби и тех куда непришедших,
чья очередь любить тебя придет,

любимых женщин и любых прохожих,
возлюбленных друзей, самих друзей,
люби одних за то, что непохожи,
за то, что схожи, тех еще сильней

люби, а мы смолкаем, мы ушли.
По форме сердца станет шар земли..."

И в тишине был слышен грохот крови,
прыжком вверх, ударом вбок и вниз
питающей прекрасный организм
всеземной человеческой любви.

"Весь этот бьющий залпами портрет
кто ж миру передаст, как не поэт!"

Май 1963

Ц В Е Т Ы



СВИДАНИЕ

Я буду прятать,
а ты проверь,
что скрыло сердце,
а что – портфель:

два узких следа
и узкий смех,
и два билета
к заливу в снег,

дух можжевеловый,
в нем ты да я,
и эти жерла
желания.

Они открылись
в моей душе,
едва наметившись
в карандаше.

Едва начавшись,
они, как гвоздь,
прошили сердце,
прошли насквозь.

Я стану путать,
но ты не верь –
в наш узкий номер
я помню дверь,

испуг и шепот,
и, сгоряча,
в два оборота
прокрут ключа.

И начиналось:
то - ты, то - снег,
то на мгновение,
то, вдруг, - навек,

то вдруг метелью
валило дом
с окном, с постелью
и кверху дном.

Была бы в пору
нам эта связь
и до отъезда
и возвратясь

двумя огнями
двух узких фар,
и снег - навстречу
на этот жар,

на свет, на скорость
и сквозь стекло.
Тебе натаяло,
мне натекло.

Меж двух каналов,
двух площадей
мы снова канули
среди людей,

людского леса,
жизня, жилья,
и неизвестно,
кто ты, кто я.

Декабрь 1962



Моя свобода и твоя отвага -
не выдержит их белая бумага,
и должен этот лист я замарать
твоими поцелуями, как простынь,
и складками, и пеплом папиросным,
и обещанием имен не раскрывать.

1962



Взгляд, отталкиванье, дыхание,
угол рта, шепоток "не надо...",
и какая-то польханная,
окаянная блазнь и привада.

И дырявят два нежных крика
угол комнаты, угол простыни...
Боже, страшно-то как! И - дико!
Странно так, что мы таем и стынем...

Светит время темно, словно угли,
и блестит, окаймляясь, полоска, -
здесь на влажном виске у подруги
тушью тронута тонкая слезка.

1970



В сердечный переплет,
хочу я или нет,
затмение идет,
потом опять рассвет.

Душой не покривлю,
когда скажу такое:
всех помню, всех люблю,
за всё плачу тоскою.

Влечение, разрыв,
надсада поцелуя
и в сердце перебив
навек, пока живу я.

Навек, навек, навек,
наверняка навечно
твое дрожанье век
вошло в тот сбив сердечный.

И Ваше там лицо
и твой смятённый вид,
а в глубине кольцо
дарёное блестит.

Начала и концы,
и слёзы посредине,
как будто леденцы
сластят, горчат отныне.

Отныне и навек,
навечно, навсегда
твои в один ответ
слились и "нет", и "да"...

И вроде вышел срок,
а всё тоска одна.
И скудость этих строк
лишь ею решена.

Вот я и говорю:
пока я что-то стою,
за новое "люблю"
плачу всё той тоскою.

Сентябрь 1962

МАДРИГАЛ

Г. Н-ой

Тебя, красавица, не запретить,
когда тебе самой запретом быть,

и в комнате когда до потолка
строжайшая решетка – два замка.

Но значит дозволильницей слыть,
когда запретом быть, запретом быть.

Ты знаешь, так фонарь среди ветвей
безлиственных гнездо себе свивает,
как белые вокруг темноты твоей
рассветы белый свет располагает.

И так же точно, черный свет лия,
небесный мрак блистает отовсюду.
И странно улыбается моя
белёсая душа ночному чуду.

И странное тогда заходит в грудь
словесное такое утешенье:
всю ночь прощаться с ночью – ночи суть,
а сердце сути все-таки прощенье.

А гром цеповный, а запретов лес!
Но сколько б ты меня ни отсыпала,
в прощальном поцелуе, наконец,
простительная страсть была начала.

Ты – ночь сама. Ты свой сама запрет –
повсюду, но не рядом появляться.
Ох, милая, тебя бы мне... Ах, нет.
Тебя, красавица, хоть голосом касаться.

Май 1962

ЕЩЕ БОЛЕЕ, ЧЕМ РАНЬШЕ

Г. Н-ой

Километров редкий лес,
проводов железных трасса
растворяют твой отъезд
по всему - меж нас - пространству.

Каждый куст и каждый час,
звук отдельный в перестуке,
получают - каждый - часть,
соразмерно, часть разлуки.

С этим свойством не знаком,
создан силами влечения,
входит в сердце целиком
только образ твой вечерний.

Только ты, отдалена,
узнаёшь по праву страсти,
что и вправду страсть одна
нераздельная в пространстве.

И еще узнаешь ты:
кто распробовал однажды,
до чего ж беды, беды,
потрясенный, снова жаждет...

Но пока твой путь таков,
что заполнена разлука
шевеленьем облаков,
бездной воздуха и звука.

Июнь 1962



Зима-хрустальница, прости, что строгий блеск,
быть может, оскорбили мы весельем,
что скромное сверкание небес
не вяжется, прости, с моим везеньем.

Зима-зеркальница, припудри белый свет
пуховкой белою, подерни серым лесом.
Сегодня, понимаю, твой запрет
я нарушаю чувством неуместным.

А уж весною тянет за версту,
уж не морозит, а знобит округу.
Зима-красавица, прости за красоту,
не застуди вконец мою подругу.

Март 1963

ЕГО ЖЕ СЛОВАМИ

Пускай не схожи глиняник и гранит,
но с холодом сошлись пути тепла;
на склонах Грузии лежит
Адмиралтейская игла,

НА ХОЛМАХ ГРУЗИИ ЛЕЖИТ НОЧНАЯ МГЛА.

И невякая накатывает аква
на глиняные камни под стеною,
прозрачная. И мутно-далеко
шумит Арагва.

ШУМИТ АРАГВА ПРЕДО МНОЮ.

Мне грустно и легко,
и нету ни изгнанья, ни печали,
а только выси, глуби, дали
и тонкая издадека игла,
которая прикалывает наспех
чужое сердце на чужих пространствах,
как мотылька, на грань его стола.

Но боль моя, печаль моя светла...

МНЕ ГРУСТНО И ЛЕГКО; ПЕЧАЛЬ МОЯ СВЕТЛА;

ПЕЧАЛЬ МОЯ ПОЛНА ТОБОЮ,
и время милосердное с любовью
пространству стягивает боль,
цветут объемы перед ним,
цветут одним -

ТОБОЙ, ОДНОЙ ТОБОЙ... УНЫНЬЯ МОЕГО

НИЧТО НЕ МУЧИТ, только воздух гложет
глаза до слез

на сквозняке времен,
и жизнь мою прохватывает он
до радости, но горя НЕ ТРЕВОЖИТ,

И СЕРДЦЕ ВНОВЬ ГОРИТ, и в красной дрожи
сгорает, хоть И ЛЮБИТ - ОТТОГО,
что, не спалив, не воскресить его,

ЧТО НЕ ЛЮБИТЬ ОНО тебя, тебя - НЕ МОЖЕТ.

1963

В РУКИ Н.Н.

Возничему горящей колесницы
скорее бы с конями затонуть,
спасти бы их, вогнать в канал по грудь,
да застревают ступицы и спицы, –
сквозь фонари созвездью не пробиться,
все блески отбивает ртуть.

И зеленил она дома и мост,
малюет арку, в ней трубу, как кость
рисует, как и есть она, с натуры,
одним пятном наносит две фигуры,
сближает лица косо, как пришлось,
и гонит искры вдоль волос
в каштановой короткой буре.

Но вот уже, глаза притворно щуря,
хоть не пугает их прямая страсть,
волнением насытись всласть,
ОНА смежает жесткие ресницы,
и взору в эти дебри не пробиться,
и не сдержать ЕМУ узду и власть,
как с сердцем, оборвавшим снасть,
не совладал возничий колесницы.

3 октября 65

БЕЛОЕ И ГОЛУБОЕ

Она белела именем своим,
и, стало быть, прожекторная рана,
которой темный берег был язвим,
так мучила меня светло и странно,
как это имя самое – Светлана.

Светлане льнули: пыльный мотылек
и гладкое барахтанье дельфина,
и визги птиц, и я сказать бы мог –
весь темно-синий с золотом денек, –
но тут прошла другая половина,
и ею ведала уже Марина.

Марина все дела делила вдоль,
расчесывала их светло и длинно
при том, что даль в лицо зевала львино,
при том, что в нас, обгладывая соль,
свободная потягивалась боль, –
всё вымывала взорами Марина.

Мариной, крутизной, голубизной
наполненный, шатался воздух пьяно,
а слаломная качка акваплана
как бы перелопачивала зной, –
и в доску разогретую сосной
прохлада стлалась, – и была Светлана.

Освоила она морской фасад
и пенную маринину лепнину.
Марина – многоярусный закат
приноровила. И тридцатикрат
перешумело всё...
Те дни уже не вызволить назад,
не вызвать ни Светлану, ни Марину.

Август 1967



И. Л-е

Все греки были юньми, не так ли?
Я бы хотел немедля Вас раздеть,
чтоб Вы сплясали подлинный сиртаки...
Простите, и в тунику Вас одеть.

Свирель - в свищах от свиста; бычьи струны
под пальцами распяленные, в лад
на черепе козла размазанно гудят.
Не правда ли, все греки были юны?

И мне напомнил дивный ритм ноги
игру морского мальчика с дельфином.
Мой бедный дух, побитый духом винным,
вкруг Вас дает смертельные круги.

Своим руном к Вам напоследок льстится
борзая шкура, и случилось так,
что в тот же танец, козлоног и наг,
вплел кто-то топотком свои копытца.

Мне долгое дано несчастье петь.
А Вам на миг стремительное счастье
по мановенью ритма умереть,
как юная менада, в одночасье.

30 авг. 1971

Посвящаются **WV**

1.

Знаю, возможно... А ветрениц вислою стаю
мне за цветы посчитать не дано.
Нет, невозможно, я знаю...
Или возможно, а стало быть, и суждено.

2.

Невероятный двукратный восход, я б сказал, -
рождество анемона
может меня потрясти до основ.

Влажно, и кротко, и гладко раскрытое лоно
ладится в душу себя вцеловать неуклонно...
Первым залогом... И цвет его красен, лилов.

Первым залогом и радужным абрисом края
свежая рана сладчайшая, сердца порез
сразу, сразбегу о белые нежные грани...
Я умираю, рождаюсь, родился, воскрес.

3.

Резвый цветок! А вот новый, из розовых линий,
темных мушек и жарких полос.
Мрак тигровый, ковровый, тяжелый, меня обуявший,
из лилий
изливается в дождь лепестков. И, светящийся,
длинный,
за улиткою тянется лоск.

4.

Но едва ль тут сирени сырые провалы уместны...

Да что я!

Неуместна, да и невозможна сирень.

Лучше ночь изнурить до конца белой метой левкоя,
и наружу бы выудить душу в курчавые кольца
гиацинтов, и будет пускай цикламен поскорей.

Или выпить до дна из пиона одним нескончаемым вдохом
нежность перистых, мощь кучевых лепестков.

Горек выдох, однако, и цедится даль маслом сохлым,
и мелеет душа у прихваченных тленом листков.

5.

Но начинается страшная роза.

Немыслимый, насмерть скручен цветок.

Изнутри загораясь, она, в желтой дури наркоза
сопротивляется сну. Но сон глубок.

Потревожу ль его? Распечатаю ль, изнемогая?

Да! Хотя б в покаянии рухнув, замаливать мой нежный
труд,

пламенеет ли в нем с боголебедем Леда нагая,
или в гладях гранясь и играя,
роза розовогрудая смотрится в пруд.

Первой розе, и розе случайной, как и последней,
исходной -
верю. Веру мою - роза - ласково - включь!

Глянь, что сделала - вот, не угодно ль?..

Грянь, будь розой ужасной, грозой будь свободной,
душу выдворь, побудь за нее, да и выпорхни прочь.

Май 1969

ВОЛНЫ



Посвящаются W



ДВИЖЕНИЕ В МОРСКОМ ПЕЙЗАЖЕ

Здесь выпуклое море на песке
качается в протянутой руке.
Да так оно и видно: под водою
приподнятое всунутой ладонью.

А голову закинешь: о, Господь –
под белоголубыми небесами
еще одна возвышенная плоть
в запястьи перехвачена часами.

Но первая и правая рука
у дна кольшет пальцами слегка,
а по тому же самому подобью
колеблется и суша под водою.

Предплечье шевелится на мели,
а кисть на глубину идет у спуска
и, воду отделяя от земли,
вытаскивает скользкого моллюска.

Ну, а другая, левая рука
запущена по локоть в облака
и, вызывая медленную бурю,
всё что-то шарит в облаке вслепую.

Но вынула она запястье, кисть,
а в пальцах шевелящаяся роза,
где лепестки и крылья, клюв и лист –
всё – белое, всё – взмахи альбатроса.

И голубое дернулось легко,
створаживаясь, будто молоко.
А синее на эту перемену
еще белее скручивает пену.

Но вот соединились две руки.
Весь промысел на миг остановился.
И пенистые свертки и круги
изобразили облачные выси.

И альбатрос летит, раскрывши клюв,
летит, моллюска наскоро сглотив.
Сквозь ровный шум, как будто острым пиком,
он небеса пронзает острым криком.

Дыра возникла, он в нее вошел.
А вот уж и отверстия не стало.
А вот уж и пропал небесный шов.
И только на запястьи, у часов
на циферблате солнце заблестало.

Август 1964

ВОЛНЫ ПЕРВЫЕ

Шла кверху, но, мутью сквозя,
росла в ней попятная сила.
Хоть - с пылом, хоть - с мылом... Всё зря:
себя ж погасила...

И лопнувший вспух дрожевой
вдруг шмякнул славянскими щами,
и - под ноги новой, живой
бьет дохлая - с тщаньем...

А та, до высот не добрав -
волна, дряхлый юноша, витязь
тошнит из закрытых забрал,
собой ж - пресытятся.

Балован средь пенных валов,
сам - пенный, сам - вал, а - в лепешку,
кимвалом чуть звякнув, - готов,
и - не понарошку.

А следующий - засмотрясь
в пустоты, в небесные нети,
весь в трансе, - погибельный тряс,
упав, не заметил.

С камнями его, - в перемол...
Он сброшен кормить собой волны,
и жизнь набегаящих волн,
и смерть их наполнив.

А новые, те, кто привык
держат на затылки и выи,
с предтечами гибли впритык,
споткнувшись, живые.

И, только бы им повторить
блаженные: по́туги смерти,
плели, неоглядные, ритм,
все – смертны, несметны.

Им души раздавливал в жмых
заживший подобьями хаос,
и тьма шевелений живых
всё шла, кольхаясь.

О берег – с потягами лап!
Хребтом, – как по обуху плетью.
Расхристанно клянчила хлябь
ответов у тверди.

и дикую сладкую блажь,
валяясь развратным диваном,
стовёрстый вынеживал пляж,
окатанный валом.

И вот было высветил блик
лодыжку из пены, ключицы,
и даже блеснуло на миг,
что чудо случится.

Но жёванный мятый простор,
как видно, покомкался даром,
и даром был до крови стерт
от гладких ударов.

Одни белендрясы вдали
тряслись, и без цели и смысла
порывы в провалы брели,
и образ обрюзг и размылся...

1970

ДОЛГОЕ ДЕЛО

Пространства голубой красивый куб
оно расквашивает пеной, плеском, блеском,
и кладной тяжестью цветущих водных клумб,
и всей великой кашею вселенской.

И, дряхлое, свисающих громад
еще подвигнет в ритм пресыщенные тонны...
С первооснов, с нуля верша великий град,
катает море мощные рулоны и колонны.

Волну кормя волной, себя в три брюха ест,
мычит и мучится... Строительное мясо!
Ему, текучему, неведом ни отвес,
ни ласка мастерка, ни строгость ватерпаса.

Но храмины архитектурный вздох
и все дыхание несметного прихода...
И замысел в веках... Как пышно он заглох!
Как разрослась в нем дикая свобода!

1970

1

Кто живущий у волн не знавал,
как идет приобщение вещи
к ритму? Как начинается вал?
Вот порыв, и пролёт, и провал...
Сам окрестит, и тут же раскрещет.
Сколько раз он пловца принимал
в эти нежно-могучие клещи!

2

Пока волна не вышла на разрыв,
она тверда.
Но раздвоив себя, распятерив,
разбрызжется вода.
И гладкий перелив
обрушится, в щебенку навсегда
себя зарыв.

3

Темных, древних движений полна,
то ли слева накатит облава,
то ли - дикою влагою - справа!
Время с временем сплавит она,
и навеки срастаясь двуглаво,
и на миг мне ломая суставы,
и отхлынет, в себя влюблена.

4

Порядок не откроет совершенства.
 Но в истовой ритмической работе
 родится нас рождающее женство.
 Пускай порыв морской свободной плоти
 в одном дыханьи с волнами на взлете
 роит соблазн доступного блаженства...
 Зато какую песню вы споете!

5

Гляди: гнездо воды надежное разрыто,
 размётан по миру бадьи, пруда уют,
 и сказочки дырявое корыто
 в корабль, того гляди, перепоят, скуют
 и выпихнут валы на свет мастеровито.
 В волнах полно ячеистых кают,
 в них плаванье для нас без берегов раскрыто.

6

Косо крест
 помечен в небесах.
 Камни - с мест,
 и - страх морских невест -
 волны в прах...
 Рокочет на басах
 чистый Вест.

7

Перепоясан лимбами долгот
 и выверен кругами астролябий,
 у моряка целенаправлен ход.

Хотя б для нас разверзлись те же хляби,
иная склонность нас к волнам зовет:
в кромешной и качающейся ряби,
бывает, некий очерк промелькнет.

8

Сначала по кругу походит...
Еще не совсем рождена,
а - прочь из пространства - по хорде
и вбок убегает длина.
И - круто от самого дна,
из голых аорт - и на холод...
И - жгучая - чем не волна?

9

Дивно, страшно вскинута нога,
разом здесь агония и роды,
радужная пенится дуга, -
бой с самой собой идет природы.
Жду: он обезводит берега,
либо напрочь обезбрежит воды.
Но дорога к этому долга.

10

Лазурные кристаллы зла
и розовые пятна благодати
подкрашивают рыжлые тела,
подобные разобранной кровати,
по ярусам прохлады и тепла.
И синева кроваво разнесла
свои покровы на закате.

От будущего в прошлое – смотри-ка:
 изрыт сквозными арками излёт
 до беспредельности раздвинутого мига.
 Архитектура беглая растёт
 от прошлого до будущего сдвига.
 А миг уже разрушен и растерт.
 И лишь волна волне равновелика.

Глянет нагими свободами
 на справедливость любовных долей
 между греками узкобородыми...
 Грянет своими же родами
 над современным кочевьем полей
 пенных, и – в пену скорей! –
 рухнет глубокими сводами.

И гибели страшась, и с гибелью играя,
 все годы краткие – в один безбрежный миг...
 на эти ритмы волн, душа береговая,
 свой пульс переложил прилежный ученик.
 Пусть кровь его теперь летит, как Божья стая,
 кроются бездны в ней, края свои смыкая, –
 в зыбях забыв себя, себя же он постиг.

Чем полнее волна заберет,
 разнимая на слабые части,
 растворяя, тем наоборот

хочет битва сильнее начаться.
Тщетно счастье, и вот оно – счастье:
победителем павший встает
каждый миг в этот миг возвращаться.

15

Не ведает волна своих глубин –
ее волнует то, что тонко взбито
из полу-слов, из полу-половин...
Красот овалами, обвалами лавин
расколебались тонны монолита;
волной к волне слагается молитва,
где слог божествен, смысл – неуловим.

16

Можно уловить любовный очерк
в переливах женственного зверя,
можно и себя скормить на клочья,
и, чтоб к сердцу путь прошел короче, –
бешеным здоровьем здоровея,
становиться поприщем для корчей
творческого темного неверья.

17

Волна то вспыхнет тускло-голубым,
то завернется в неприступный глянец,
а то залется медью из глубин,
и вдруг осмысленно и дико взглянет:
– Готовься, ты угадан и любим!
В груди живой дробятся те же грани,
и празднует соборность нелюдим.

Ты ли, как было глаголено,
 в гладкой броне наготы
 будешь нам явлена голая,
 или же, медью для олова,
 суть отделённая, ты,
 на золотые лады
 бронзою вплавись в головы?

Создатель новизны любого дня
 и Устроитель вековечной тверди
 велел: - По звездам пульсы ваши сверьте!
 Сердца раздельны спектрами огня,
 но муками единого предсердья
 сотворена творящая меня
 моими же порывами усердья.

Ведома двойная глубина
 для любовно-пристального зренья;
 зоркость в нем удвоена одна
 и морского, и глазного дна;
 общий взор возрос до озаренья,
 и зарёй раскрытая видна
 тайна простодушного творенья.

1970-71



М Г Н О В Е Н И Я

Посвящаются VV



ТЫ

Ангелом лабораторий
ты во младости была.
Всю - к тебе - с тобой - до тла
я любовь протараторил:
не было - и все дела...

Не было? Но если б глянуть
сквозь коллоид лет могла
ты, - не ты ли мне соляной -
в сердце - палочкой стеклянной -
ваву - кислотой вожгла?

С кем же ты запретным брашном
делишься, лишь тем тепла,
что в люминесцентно-страшном
деле светятся тела?..

Дальше - даль - без нас - гола:
в календарном переплете
дб пуста сгорела мгла.
Лишь касанием крыла
где-то врезавшейся плоти
в низком - над землей - полете
вдоль протравлена стрела...

17 сент. 1972-77



Бортнянский. Православная Россия.
Над весями висит, светясь, Ave Maria.
Мы слушаем его, ее, как бы впервые,
взмывая на воздушных завитках.
И музыке в ответ великой, малой, белой
Капелла звездная над певческой Капеллой
в подпругах всеми скрипами запела,
кренясь на серафических ветрах.

Декабрь 1970

СЮЖЕТ ИЗ ЖУКОВСКОГО

Примерно такие же, здесь же, в такую же пору
липы цвели, и такой же свистал в них певец,
в горле тепло-прозрачную, близкую все же к минору,
но едва ли печальную трель полоскал.

И юнец -
славянин приникал . так же к нежному птичьему вздору,
так же точно не чуя конец.

Наконец,
невозможна, кошмарна, кромешна зеркальная лет
перспектива.

Наконец, нестерпима, немыслима мысль, что живет
о миллиард головах!

Повторять ее - надо ли? Нам бы - победу на диво:
самое время бы Время раскупорить в прах.

Но мгновенье - оно и единственно, а потому
и - правдиво.
Каждый миг умирая, ему ли нам лгать в зеркалах!

26 сент. 1971

МГНОВЕНИЯ

1.

Ты, единственный, дымный, чадающий,
жизнь черкающий, как черновик,
ты, себя, уходя, не щадящий, -
вот мелькнул, вот запутался в чаще
из деревьев, троллейбусов, книг,
пульсов, роз, поцелуев, гвоздик...
Нет святей, нет больнее и слаще,
нет - тебя, пропадающий миг.

2.

Хоть на полглотка - неполная
в полноте земного дня, -
вот какой тебя запомню я.
Ты запомнишь ли меня?
Иль в твоём текущем имени
кучей темного огня
все года мои, все дни мои,
жалкие, живые, дымные,
жаркие, спалят меня?

3.

Жизнь, мистический Грааль!
Если в жарком закуте
обретаемый рай
гибнет ежесекундно,
значит, время - цикута, -
пей, цветы, умирай.

Этой низкой игрой,
где никто нам не судьи,
увлеклись мы с тобой,
потому что до сути
недалёко отсюда,
шаг, - и вот она, стой!

Жизнь святая, цветы
в грязной, в нежной работе,
в чистом поте, в пути,
в темном опыте плоти,
в самом смертном полете
умирай, но цветы!

4.

В куче листьев чернея, краснея,
занимается темный огонь,
и ползет ароматная вонь
по какой-то фанерной аллее.
На щитах - не портрет Лорелеи,
но убитые дети двух войн.
А живые - зверюшками - вой
затевают, и лая, и бляя...
И в режиме расчетливом тленья
зимовать мы решились с тобой.

5.

Ты не забыла о дворцовой церкви,
где, отсвет люстры взяв за образец,
по изразцу скользнув, к царям, бывало,
входил нарядный Бог?

А помнишь ли фарфоровые лары,
которые в плену жеманных поз,
казалось, хрупкую предпочитали смерть
застывшей глуповатости секунд
остановившихся? Их позы – помнишь?

А мраморную бабочку в ладони
и белизну брачующихся душ,
и ангельское их предцелованье?

Еще бы... Как забыть! Ушло мгновенье,
а нам уже за ним не промелькнуть.

И этот львенок с гобелена –
случайности свидетель долговечный,
и тот наружной лепки херувим –
непреходящий соучастник мига.

Львиноголовая царица,
Сын человеческий в кровавом крапе,
распятый в глянцево́м ночном окне.

Ты видишь, как опасно быть вдвоем!

6.

Научившись кой-чему из книг,
обуздаем миг хотя б на миг.

Хочешь, на четыре такта, как, –
по-пейзански стрижен, бронзов, наг,
вечен, – гренадер сдержал коня...

Или так – смотри скорей в меня...

Вот еще среди конных игр игра:
об руку рука, мотор и вьюга,
и - с кавалерийского горба...

Миг... Прыжок сердечный... Крик испуга.

7.

Обломки льда лежат на льду же,
и полынья дымит от стужи,
становится всё уже, уже
черно-прозрачная вода...

Что было тут?
Когда так целостность раздрана,
в пространстве временная рана
горит -
не утонул ли тут жених Авроры?

Пока невеста горевала,
состарелась и умерла, -
раз полтора ста оледеневала
река, - он, видно, не спешил судьбой
и дотянул до наших вот времен...

Форель ему навстречь стучала,
но чудо завершил другой поэт:
в созвездьи Рыб -
которая твоя форель играет?

Прозрачно-чёрная вода
становится всё уже, уже,
и полынья дымит от стужи...
Обломки льда лежат на льду же,
и нерушимы души,
и неподвижны бывшие года.

8.

Тебе, королева мгновений,
 купаний, касаний, красот роковых королева,
 тебе посвящаются дымные страшные розы,
 грозящие автора их пережить.
 Пусть не слышно напева,
 пусть истлеет строка –
 лепесток полон нежной угрозы
 пережить, перецвести даже бурно растущее древо...
 Ритм уже отнесён монолиту молчанья.
 Тает облаткой глюкозы
 в тиши океанского зева
 наша доля с тобой,
 наша дикая доза свобод,
 королева Мгновений, и Волн, и Цветов королева.

9.

Колосс родосский
 и маяк александрийский,
 железный столп индийский,
 башня Пизы,
 Гераклова неистовства следы,
 к ним – тусклая улыбка Монны Лизы
 и в облаках цветущие сады
 Семирамиды
 и пирамиды,
 и невозможность у мгновенья
 дленья,
 и ускользящее божество,
 и ужас повторённого мгновенья,
 и двух сердец внезапное навек родство...
 Сердец кроваво-темное биенье.

1969–70; 1968

З И Я Н И Я





Посвящается

Тебя, тоскуя о твоей пропаже,
наставница ребячая, ничья,
не нахожу в промышленном пейзаже, -
и заживо мертвеет жизнь моя.

На фоне виадука и сарая
идешь ты, силой нежною дыша,
и тут я поражаюсь: вот какая,
оказывается, моя душа!

Ты на глазах творишь себя, как чудо,
и сходятся мгновенные черты
с чертами абсолютными - оттуда.
Я - за тобою. Но зачем здесь ты?

Чтоб укорить несовершенство края,
одною только зримостью греша?
Чтоб нагляделся я: вот ты какая,
оказывается, моя душа!

Бывают в этой сплошности прорывы
туда, где свет, - отсюда, где склады...
В мистическом едином теле живы
мы были бы. Но врозь ведут следы,

тебя от перекрестья отвлекая.
А мне бы всё глядеть, как хороша,
и всё не наглядеться мне, какая
моя и не моя уже душа.

Сент.-окт. 1972



В груди гудит развал,
а память - скромница.
Да это кто ж сказал,
никак не вспомнится:

"Христианин - мой дух,
душа - язычница.
За несогласье двух
с меня и възщется"?

Такому должно тлеть
в стихах у Наймана.
Принадлежит на треть
обоим нам оно.

Да, это быть могло
у друга-братика, -
я узнаю стило.
Его ли практика?

Ну, так она ничья...
Но прежде - Ардову
ее отнес бы я
вот с этой правдою:

- Дышать не возмогу!
А что причиною?
Не обручить чету
неразлучимую.

Дух одержим одним,
душа - капризница.
И не расстаться им,
но и не сблизиться.

Он - мистагог, монах,
почти - у вечности.
Она во временах
увы, увечится.

И все же суть ея -
зиянье трещины
по нем - крестом. А я -
как недокрещенный.

В груди разгул, развал...
Лишь память мучаю -
кто ж так умно сказал,
и прямо к случаю:

"Христианин мой дух,
душа - язычница.
За несогласье двух
с меня и възыщется"?

Декабрь 76

ИЗ ГЛУБИНЫ

1.

То ли вишенье, то ли буру
подмешали в чернила:
что ни выпишется перу -
всё - кроваво, червиво.

То ли это калечится мозг,
так буквально язвимый,
словно беса колючего Босх
запустил вдоль извилин;

то ли, - жертва любовных ловитв
под рукой сердцелова, -
растлеваемое, вопит,
вырывается слово.

Нарывает, рыдает о двух
душах, до крови рваных,
весь в буграх, искареженный Дух,
как терзал его Кранах.

2.

Что ни час, то неровен...
А в часу нулевом
кротко блеющий Овен
пожирается Львом.

Срок истек человечесий.
В том и прок неземной, -
насыщалась бы вечность,
что ни миг, новизной.

3.

Дух со следами огня
наклонялся, и жаждал в меня
углубиться.

Тень по границам лица
и внимательный взгляд пришлеца
вспышкой блица,

копотная полумгла
и пронзительный взгляд, как игла,
были близко.

Видно, выискивал брешь.
Двух кровей перейденный рубеж
и расписка

вызвали дух из огня.
Наклонялся, и жаждал в меня...
Я отбился.

4.

Куда с паденьем Люцифера
пробита шахтою дыра -
катастрофическая сфера
и центр ядра,

и самый гвоздь существованья,
где боль его, и крепь, и кость
вселенская и мозговая
прошли насквозь,

где заживо ороговела
и одеревенела глубь,
но ржавая в крови каверна
проникла в луб, -

оттуда, из кромешной точки,
где все начала сведены,
забил таинственный источник,
ИЗ ГЛУБИНЫ.

1973

5.

Из глубины земной, воздушной, водной,
сребрясь и восклубляясь голубым,
пусть разрастется пульс во мне сегодня
до огненных и духовых глубин.

Пусть он развалит время, раскрывая
у мига - немигающую высь...
Здесь - вечность человечится живая!
Мое мгновенье, здесь остановись,

где нестерпимо радуется рана,
где саднит, мною ставшая на треть,
та жалость о себе, что слишком рано,
а я готов, согласен умереть.

Не раз я был учен, молчу и знаю...
Но хочет за пределы и края
запутанная, всякая, земная,
вот эта жизнь, какая есть, моя.

И в толщах бытия куда мы денем
сей нужный возглас: - Человеке, сгинь!
Пусть удами во мне трепещет демон,
но блудный сын свой путь уже проделал
в отцовскую чернеющую синь.

Август 1976

НОВЫЕ ДИАЛОГИ
ДОКТОРА ФАУСТА



М.П.Басмановой посвящаются эти

о п ы т ы



Открой-ка дверь, здесь душно и темно.

Не лучше ль нам открыть тогда окно?

Там холодно, а я и так дрожу.

Нет, нет, я дверь открыть тебя прошу.

Да, но из двери слишком резкий свет
и голоса, и шум воды на кухне.
А серое шуршание газет,
стук каблука и шепелявость туфли
вконец мое молчанье извели.

Но почему? - ведь там же все свои!

И я люблю, когда присесть на стул

сидя заходит этот мирный гул,

болтливый, как сосед. Открой-ка дверь.

Нет, нет, ну я прошу тебя - не стоит.

Когда уйду - откроешь, не теперь.

Открытое - всегда чуть-чуть пустое,

а может быть и вовсе пустота.

Да, это так, но не раскрывши рта,

альбома, книги, двери и души,

мы все неизреченными в тиши

останемся. И комната права,

на стенах наши профили рисуя,

записывая нас. Ведь мы - слова,

и знак, и шум, и выраженье сути.

Ей крикнуть нами хочется теперь.

Ну, я тебя прошу, открой же дверь.

Нет, погоди, скажу я всё, как есть:

на самом деле это только лесть

предмета. Он не хочет просто быть -

как бы возбыть, продолжиться желая,

он вынужден казаться смертным, слыть

за смертного, постыдно подражая
в печальном этом свойстве нам, живым.
Не это ли притворство?

Даже им,
притворством, наградили мы предмет.
(На части разбирая белый свет,
суметь бы нам колесики устройств
не растерять). Но солнечная призма,
тряся букетом семицветных роз
дает урок несложного кубизма,
и если кто понять его не смог,
то зеркала пронзительный намек
сверкающей на плоскости дырой
тогда не говорит ли: дверь открой!

Нет, не открою.

Не откроешь?

Нет.

Но почему? Запрет? Или приметы?

А ты ответь мне: зеркало - предмет?

Нет, не предмет, но правда о предмете.
Поверхности дает оно объем.
Объему с отражением вдвоем
оно предоставляет заглянуть
до самого конца другому внутрь
и распознать себя. Так свет и тень
(вся густота зеркальных построений),
опережая правду на ступень,
становится едва ль не достоверней,
чем сам оригинал. Как птицу в лёт,
оно с опереженьем правду бьет.

Бедняге не впервой, а нам урок:
того гляди, прибьет лихой стрелок
не только правду, но и нас самих.
Скажи, когда глядишь в такое жерло,
из этих одинаковых двоих
кто ты, а кто твое изображение?
И в ком из них живет твоя душа?
Ведь если позабыть, что он – левша,
с тобой, прекрасным, он, кривляка, шут,
полнейшим сходством, вызывает жуть...
Оптическое чучело в тиши
внушает непонятное доверье
и, тело отделяя от души,
в небытие приоткрывает двери.
Ведь если я и есть вон тот портрет,
выходит, что меня-то вовсе нет.
Нет, проходимец, я и значит я,
хоть искушает правду ложь твоя.

Ну, это же не ложь, а так... Лукавство.
У зеркала ведь память коротка.
А потому и лучшее лекарство –
забывчивость заёмного мешка
пространства. Чтобы нам себя спасти,
достаточно глаза лишь отвести.
Но приготовься: впереди у нас
опасный опыт – выдержит ли глаз?
Тебе не приходилось наблюдать,
как пишет это зрительное эхо
и по складам пытается читать?
Циническая в этом есть потеха.

Я думаю, пластинка так поет,
запущенная вкруг наоборот.
Но вместо пенья – только свист и визг.

А если я пластинку эту – вдрызг!
Побереги же слух: впускаю звон.
Поломанного пения осколки
сверкают и свистят со всех сторон,
впивая в ухо острые иголки:

О, что это за ужас, прекрати!

Нет, нет, еще осталась треть пути.

Останови невыносимый тэст.

Нет, погоди, должны мы все прочесть:

О, это нехорошие дела:
обломки слов с обломками стекла

Строки многоточий здесь и в дальнейшем обозначают паузы соответствующей длительности. В этих местах читатель может вообразить какофоническую музыку.

в глазу объединенные, тот час
у зрителя пропарывают глаз,
а проникая в ухо общим скопом,
обломки смысла и зеркальный лом
кровавят слух, копытящим галопом
растаптывая мозг. И поделом –
говорено недаром у людей:
"И в мыслях разбивать его не смей..."
А так и есть. Оно ведь – глаз, досмотр
за нами
лиц, физиономий, морд,
им отраженных некогда до нас.
Каким бы это ни было соблазном,
руки не подыми на этот глаз:
как отомстит шпион с подбитым глазом,
наплачешься...

А я и так плачу.
За то, чего я ввек не получу,
кладу я нескончаемость пути,
которым предлагается брести
за истиной.
Но весь увидеть разом
предмет – не предусмотрено в меню.
Так значит быть всегда тысячеглазым
или разгрызть их тысячу на дню
и разложить по косточкам примет.
Я думаю, что не парижский мэтр,
а вдребезги разбитое стекло
от зеркала –
кубизм изобрело.
Из всех приобретений ли, потерь –
не все ль равно? – оно свободы просит.
Оно не то что открывает дверь,
а напроць и в щепу ее разносит.
И сквозь пространство – далее вперед...

А кто, скажи на милость, уберет
истерзанные зеркалом тела?
Да, видно есть ручные зеркала,
а есть неприрученные, как зверь,
как это вот, бушующее рьяно.
Ну, хорошо, пойду, открою дверь
хотя б затем, чтоб выпустить буяна.
Авось, он присмирееет на дворе.

Что разглядишь ты о такой поре?

Что разгляжу - во тьме увижу тьму,
а там - непостижимое уму.

Но это - двор, и тут вокруг дома.
Расставив руки, кажется, дотронусь
до двух противостен...

О, там, где тьма,
укромность превращается в огромность,
и больше нету ни домов, ни стен.

А что же есть?

А есть густая тень,
та самая, что гнёзда вьет везде,
где почернее мрак, и мы в гнезде
качаемся с тобой - не выпасть бы,
о как бы нам не выпасть, не упасть бы!
Не сверзиться бы нам с ветвей судьбы
да в самое туда раскрытье пасти,
с ветвей да в пропасть волчьей пустоты.

Не зеркало ль во мраке видишь ты?
Не зеркало ль?

Не знаю - тут темно.

Ну, значит, это все-таки оно.

Не знаю, нет, не различить никак,
но чувствую присутствие чужое...

Так значит это - зеркало: не мрак,
но пустота, закиданная тьмою,
и я давно разбить ее...

Постой!
Мы пустоту прихлопнем пустотой.
А с ней и наши опыты к концу...
Смотри же, как стоят лицом к лицу
два зеркала. Ничто глядит в ничто.

Да, вижу. По краям клубится нечисть,
а в самой трубке, в рукаве пальто
обрублена по локоть бесконечность,
суля и нам похожую судьбу...

Но тут пространство свернуто в трубу,
и мысль о нем уложена в чехол.

Нет, опасаясь я, что это - ствол.
И он определенно расчехлён,
он изготовлен и готовит выстрел
не в нас - похоже, нами хочет он
пометить запространственные выси.
И в миг - двух жизней, двух сердец дуплет!
Меж двух зеркал - спалить запасы лет
в одно мгновенье - ставлю я свечу.

Нет, нет, я это знаю, не хочу...
Всё пробую, но не открыть мне дверь -
и чую сквозь нее дыханье стужи,
и кажется: какой-то черный зверь
рогами подсадил ее снаружи.

Так он пришел? Я жду его давно.

Но кто же он?

Да так... Не все ль равно?

Нет, кто?

Все имена идут за ним:

калика перехожий, пилигрим.

Он - мышка, но и кошка, но и щель,

куда забилась мышь. Он волк овечек,

и муть со дна кладбищенских ночей,

и вечный странник, но и странный вечник -

названия лишь искажают смысл.

Мы слишком далеко услали мысль,

и не она уж настигает нас,

но искуситель, сатана пространств.

Он обозначен! Так на шею - вервь,

на сердце - камень, головок - в омут!

Ты видишь?

О, сама открылась дверь!

"
.....
.....
.....
..... "

Исчез! И повернулась дверь, как лопасть...

Но что он говорил! Я жить хочу!

О, что сказал он... Я не так хочу,

не в честь и не в угоду палачу,

и ты не поддавайся палачу.

Ну, успокойся, на него есть крест.
Ты вспомни церкви среднерусских мест
(ты помнишь церкви среднерусских мест?) -
в просторных рощах как они к лицу
спокойно вечеряющей России!..
И там у них, где свод идет к концу,
там луковицей купол тёмно-синий
(там? луковицей? купол? тёмно-синий?),
и золотые звезды по нему.

Так вот: уж и не знаю почему,
но все-таки всегда сдавалось мне -
так выглядит вселенная извне.
Снаружи, да, а крест или росток,
снаружи. Нет. Но крест или росток
у луковицы - вот всего начало
(начало? начало? начало?),
и прямоточных там времен исток,
и возвращенных там итог.
И жало, стрекочущее светом в тот простор,
к которому повсюду есть затор,
повсюду, но не в сходе этих мест,
в которых мир не то, чтоб был отверст,
не то, чтоб тут окно...

Да, да, оно!
Ведь логика ступенек и площадок...
Нет, нет, оно!..
И всех дверей, ведя на то же дно,
ведь логика ступеней и площадок
наводит неестественный порядок,
и всех дверей, ведя на то же дно,
наводит нестерпимый распорядок,
а мы с тобой должны не выйти в мир,
а выпорхнуть из комнат и квартир.

Да, но не так, как этот...

Нет, не так...

Но это значит, нам тогда...

Молчи!

Дверь запереть покрепче. Где ключи?

Но разом весь пронизывая мрак...

Нас не увидят. Тут кругом темно.

Прозрением.

Сейчас кругом темно,

и мы одни в неосвещенном мире.

И мы. Одни. В неосвещенном? Мире.

Ну, хорошо. Открой тогда окно.

Открой окно. Открой его пошире.

1964



НЕБЕСНОЕ В ЗЕМНОМ



Оставь, как было, всё, что было, -
смесь неизбежности и пыла
и разрывания в груди,
но только - нет, не уходи.

Не покидай меня, не покидай...

Не оставляй с самим собою
меня, пропоротого болью -
хоть удались в любую даль,
но только - нет, не покидай.

... по самому простому праву, -...

Ведь я себя бегу, как птица,
что перьев собственных страшится:
из них любое - острière,
и все направлены в нее.

... но ты и в радости не покидай,...

А ты разлукой, самым острым
из этих перьев, скрипом костным
меж ребер вводишь скрежет, нож,
до сердца, там и повернешь,

... когда я тороплю расправу.

Не покидай меня, не покидай,
когда разъят я в этой стуже.
Но и в радости не покидай, -
она всех стуж похуже.

ЧУЖОЕ СНОВИДЕНИЕ

Такой ночной горячий полубред
и полувопль, хотя и с долей смысла,
минуя слух, в мой сонный мозг ломился
за первым сновиденьем, сразу вслед...

Так начинал невольный гипнопад
свой лепет, словно вяз под плетью ветра, -
своей бедой настигнутый сосед,
товарищ мой по съему кубометра
жилых просторов.

Общий наш закут,
когда стихали кухонные недра,
и строй эмалированных посуд
уже не брякал крышкой о сосуд,
сосед мой начинал негромким воплем.
И, хоть не прерван плачем из угла,
но сон уже был скомкан, покороблен,
и жалоба, крутясь, в меня текла...
Потом я просыпался, шел в дела,
не ведая, чем ночь меня терзала...
Но голова в дыму, как свод вокзала,
покинутого поездом, была,
да в сердце - скрежет битого стекла, -
чужая боль меня не покидала.

ВАРИАЦИИ ТЕМЫ

Не покидай, и не дели свой путь
на два пути - судьбы и сердца,
где в трещину меж них и не взглянуть,...

Пусть никогда ничтожность, малость
до слез твоих не подымалась,
и только я взметаюсь, прах,
но лишь возмездие в глазах.

... одно клубится бедство.

Однако, знаю – будет день измен.

Когда беду наизготовь
держать лишь ради перемен,
приворожит она любовь,
а та приманит день измен.

Он страждущим – содрав повязку,...

Так что же – мне? тебе? еще там
кому-то обернется счетом,...

... на голову обрушит свой безмен,...

кому-то обернется счетом,
и примет черный оборот
тот новогодний поворот,

всему неся развязку.

Тот новогодний поворот винта,
когда уже не флирт с огнем, не шалость
с горячей занавеской, но когда
вся жизнь моя решалась.

ОБЕДЕ ВОСПОМИНАНИЕ

Не пелену набрасывает сон,
а личности расплѣскивает он
и заливает ясные границы
мои, твои, соседовы...
Все лица
так метят в самое меня вселиться,
что и не знаю, чей же это сон.

Тогда, с тогда еще чужой невестой,
шатался я, повеса всем известный,
по льду залива со свечой в руке,
и брезжил поцелуй невдалеке.
И думал он в плену шальных иллюзий:
страсть оправдает всё в таком союзе,
всё сокрушит; кружилась голова,
слов не было.
Какие там слова!

С кем это было – с ними? с вами? с нами?
Всё затянуло общее бытё,
а может, это – сон? воспоминанье?
предчувствие? Его? мое? твое? –
не знаю.

Новогодний дачный дом
их ждал с компаньей дымной за столом.
Вы, двое, обрученные, явились
(а может – обреченные?), и вились
вкруг нас двоих,
и в твист плелись картинно,
запутываясь, ленты серпантина...
...вкруг вас двоих...
...и в твист плелись картинно,
пути запутав, ленты серпантина
вкруг этих двух...
Но что ты? Спятил разве?
Откуда взялся этот жирный гном.
Да там ли я, на той ли льжной базе?
Что тут за люди в пьяном безобразьи,
разбитые кто дракой, кто вином,
кто преуспев на поприще ином...

Но врезалось, как свой, как личный опыт:
она, ее свеча и светлый обод
свечи, чужого праздника фрагмент
и острый огонек средь плоских лент.

Но как остановились эти лица,
когда вспорхнула бешеная птица
в чужом доме на занавес в окне,
в чужом доме, в своем дыму, в огне...
Немногое пришлось тогда спасти!
Нет, дом был цел,
но с польханьем стога
сгорали все обратные пути,
пылали связи...
Ночь ушла к пяти,
и я уже забылся в ней немного,
но услышал начало монолога.

МОНОЛОГ СПЯЩЕГО

Нет пути от меня, нет пути для тебя, нет дорог!
Нет, вернее, путь был, но его уже всё, пересёк
путь к ночлегу, ночлег, и до нас за пятнадцать минут
не успевший как следует и отдышаться, вздохнуть,
тот сразбегу взобравшийся в горку еловый лесок...
О, сквозь ветки прозрачно его голубеет висок...
И какой-то секрет, непонятно: вблизи? вдалеке?
только что-то он прячет, таит, как монетку в руке,
шевелит у себя за спиной, и потом, - две руки, два
ствола,
предлагая - в каком? - выбирать... А, была не была,
в левом! Возглас, смятение, возглас, испуг: "ох,
лисица..."
желтый мех и со стукотом сердца желающий слиться
по прибитой земле убегающий вдаль
И возникшее сразу же и навсегда, как итог:
нет пути от меня, нет пути для тебя, нет дорог.

Цветок, раскрытие страницы,
кружащий лист - всё птицы, птицы;
движенье брови, взмах ресниц, -
ты всюду, всюду видишь птиц.

Они летят в твоих тетрадках,
их тень на вологодских трактах
пересекает поперек -
как шпалы - рельс твоих дорог.

Но видела ли ты когда-нибудь
(заранее тебе в сердечном вздрого
скажу по правде - нет!), что птичий путь
висел бы вдоль дороги?

Если был он, тот путь, то его уж давно завели
повороты небес и неровности, сбивы земли,
ветвяные решетки, стволы и еловые кущи
к той дождливой и птичьей, к той хвойно-рябиновой
гуще,
где и вправду ведь рай был в еловом живом шалаше.
Льнули двое безбрежной душою к безбрежной душе...
Кто там был? Никого - только мы, да глядевшие в нас
сквозь тяжелую хвою: и рденье рябины, и глаз
той сиреневогрудой внимательной крохотной птицы;
как зрачком, этой птичкой водили лесные глазницы,
с нас ее не сводили, пока не смежилась хвоя.

Из бывшей, списанной столицы
мы вырвались, как две страницы;
лес эту грамотку обстал
и наспех нас перелистал.
Листал, как ветер лищет книгу,
нисколько не следя интригу, -
взглянув поверхностно чуть-чуть,
он сразу схватывает суть.

Нет, был путь, был же путь, но мой поезд, как нож,
разрывая разлуку, проткнул заодно твою ложь.
Ничего не забыв, но отведав от этих измен,
чем же стал я теперь?, если мною он благословен,
этот путь от меня и колесами, значит, по мне.

Сколько шпал, столько раз приходился по полной длине
стук железный, колёсный по стуку живому вот здесь...

Два рельса спорят в этом стуке:
один грохочет о разлуке,
ему гремит наперебой...

... стук железный, колёсный по стуку живому вот здесь,
где тебя прославляет сама нестерпимая резь.

... ему гремит наперебой
о возвращении - другой.

Я вот что говорю: и в счастье есть,
о чем молчит любовная наука...

... я говорю тебе: и в счастье
есть мука разделенной страсти,

которую сердцам не перенести,

она не делится на части,
и только редкие сердца
ее выносят до конца,
входящую без стука.

ДИАЛОГ С УХОДЯЩЕЙ

Сводило судьбы ближе, ближе:
- Тебя я сквозь деревья вижу...
- А ты мне брезжишь впереди...
И - перекресток на пути.

Страсть, осененная ответом,
ослеплена своим же светом.
Опоминается она,
когда уж всё - разделена.

- Ты не покинешь? - Не покину...
Самой уж нет наполовину...
- Так не оставишь? - Не оста...
Звук пропадает, даль пуста.

И меж ответом и вопросом
стоят деревья полным ростом...
- Куда ты скрылась? Где ты есть?
Издали: - Я рядом, здесь...

Не покидай меня, не покидай,
когда разъят я в этой стуже,
но ты и в радости не покидай,

я принимаю эту муку,

она всех стуж похуже,
горстями вычерпав разлуку
и выпив с милого лица
всю безучастность до конца...

АВТОРСКАЯ РЕМАРКА

В душе подругам это не с руки,
безмерность чувств им кажется чрезмерной,
и где нам уследить за этой сменой...
Что было "настроенье, пустяки",
кончается побегом и изменой.

Пусть мы от сантиментов далеки,
в молчаньи пусть по горло тонет повесть,
но другу ты попробуй-ка солги,
когда я сам под старые долги
купил ему билет на этот поезд.

Ну, добирайся к ней по городам,
по вологодским льдам, весенним бродам,
мол, никому на свете не отдай,
ну, по расспросам, камушкам; следам,
и обнаружь с любовным антиподом.

Тот знает, кто следил через стекло,
что было там, в гнезде пустого дома...
Я так скажу: что было, то прошло,
но не дошло, как видно, до худого.

И вот он с ней уже вдвоем сидит.
Они вдыхают злой дымок кочевья,
не греет придорожная харчевня,
не отпускает нервы даже спирт.
За тонкой стенкой паровоз сипит.
Вплотьмах скрипит у стрелки куча щепня.

Они молчат. А что сказать? - "Бог с ним,
верни мое?.." А что мое - надежды?
"Сама вернись..."? Но вот она, как прежде...
Она. И лишь дорожные одежды
уже пропахли запахом чужим.
Ну, что ему сказать, скажи на милость.
Ну, что ему сказать, что ей сказать!
Что за пустой и губительный азарт,
которым сердце милое надмилось!

А ночь предполагала монолог,
который бы вполне прочесть он мог.

МОНОЛОГ ТО ЛИ АВТОРА, ТО ЛИ ГЕРОЯ

Знаешь время - то год пролетит, не заметишь, а то
меж средой и субботой, бывает, проходят года - иногда
так ветшает душа, так стареешь за несколько дней...

Но тебя я люблю с каждым днем, с каждым годом
сильней.

Опасайся меня, и какой-нибудь щит от меня приготовь:
всё быстрее вокруг сердца, всё чаще вращается кровь,
не подумай дурного, тебя не берут на испуг,
но вращается кровь, превращается в розовый круг,
голова закатилась, разбросаны в стороны руки -
как бешеный бык этот бешеный бег центрифуги
стучит нет гудит нет ревет разрастается гром
черно-красного цвета шипящий сухим серебром.
Сотрясает основы и жизнь мою мощно трясет
сотрясает как стебель судьбу ухватив за хребёт...
И ломлюсь напрямик, и не выбраться мне из кольца,
и СУДЬБА - ЭТО СТРАСТЬ, только понятая ДО КОНЦА,
приготовь, говорю - я горю - что-нибудь приготовь:
тяжелеет, ревет, и враща - и вращается кровь;
что там? - гвозди, клыки или звезды? - того
и смотри,
эта острая кровь продырявит меня изнутри,
как буровит меня каждым словом горячая речь,
так и ты - опасайся! - вдруг красная свиснет
картечь.

И с какой безнадёжностью все же я все же зову:
край серебряный, крепкая старость, ау!
Не дожидаться тебя, не пробиться к тебе, не пройти.
Нет пути до тебя. Для тебя нет пути. Нет пути.

ДУЭТ ГЕРОЯ И АВТОРА

Есть темный свет.

Его полуовальная дыра
в фасаде арку прокопала,
она выводит черноту двора
на ров канала.

Есть светлый свет.

Но почему же так темно? -
Была там лампочка давно,
и в голой темени ворот
висел ее прозрачный плод.

Его не видит белый свет.

Какой-нибудь лихой гуляка там
шатался над рекою -
не я ли сам? Не я ли, прежний, сам,
своей рукою?

Есть светлый свет, -

он, веселясь, его раскокал,
и лопнул плод, остался цоколь,
не развинтить уже патрон:
края, как бритвы, - только тронь!..

Есть темный свет, -

Попробуй только - сразу до кости
разнимут плоть они почти приятно -
так мокро, остро, Господи прости,
проступят пятна. -

При скручиваньи многих бед.

Есть полый свет воспоминаний
и темный свет благих страданий,
и светлый свет счастливых лет,
и жизни, жизни полный свет.

Двинь сердце, словно маятник толкни, -
все беды я благословлю за это.
Как ночи - так я выворочу дни
изнанкой света.

А с твоего лица-соблазна
два пепелища слёзных, глаза
в меня глядят, дают мне - нет,
лишь утешенье, не совет.

И утешенье, и совет -
тот, Дантов, свет.

ВЕРХНЯЯ ТИШИНА

С душой, опустошенною от блеска,
проснулся, вижу: сбилась занавеска...

Примета - дальше некуда - плохая,
когда в окне разбойничья звезда,
сам Сириус, чудовищно порхает
и тьму - на ромбы, кубы, обода,
и - к самому главному дну, туда...
И там он сатанински полыхает.
Свет ширится, как лай, как гам, как гром
в ночи за ланью порскающей гончей!
В сердечной сумке прыгающий ком!
Заглотанный в желудке волчьем корм!
И злоба дня средь вечной злобы ночи...

Я - мимо друга, к темному окну,
и нижнюю услышал тишину.

НИЖНЯЯ ТИШИНА

Водопровод разыгрывает фуги,
и рвется с электрической подпруги
семейный ледник, тину ржавых щек
у поплавка скребет, шипя, бачок,
сочится кран, и капель звук упругий
разносит полновесно: щёлк да щёлк...

И слышно всё то четко врозь, то слитно,
то счетчика насвистывает диск,
то за стеной растет гуденье лифта,
и бормотанье друга будто влито
в тот незавидный тихий гвалт и визг,
но высится как ствол, как обелиск.

ДОГАДКА

Горит, я вижу, рот у страсотерпца,
и слово из-под нёба – до небес,
ширяет меж глубин, высот и бездн,
беда и радость разом входят в сердце...

Ах, радость эта пуще заусенца
и саднит, и отпущена в обрез...

Но отчего же так во тьме широко
поет его беда с припевом рока?
Что за – для сердца непомерный – стук
звучит в его грудной органной фуге!
И страшное подумалось о друге:
что если счастлив он от этих мук?
Не ищет ли страданьям он продлений,
и, может, это цель – любовный крах?

ПРОПИСЬ

ПЛОДЫ ТВОИ НЕ В ВЕТКАХ – В ОБЛАКАХ.
ДЛЯ СЛЁЗ РИСУЙ И ДЛЯ УВЕСЕЛЕНИЙ
НЕ ЯБЛОКО – НО С ЯБЛОКОМ В РУКАХ
ПОРТРЕТ ВСЕЛЕННОЙ.

ПЕРВОЕ ДВОЙНОЕ СОЛО (ДЕНЬ)

А на одной из этих веток
висит, качается от ветра

как яблоко – безбедно круглый день...
И мы с тобой на берегу залива,
и даже солнце не бросает тень,
и ты счастлива...

Как солнце, яблочко желтеет,
а у него на чистом теле,
поглубже спрятать норovia
разлуку, – черный след червя.

И я разламываю плод, и день, и боль –
в изломе бело-искристое тело.
Так счастье – пополам – у нас с тобой
внутри блестело...

А сутки солнечны и лунны,
в них золотые поцелуи...

...вот нам уже и суть обнажена:
гнездо червя и червь в плодовой сумке,
и красные лоснятся семена,...

...как золотые поцелуи...
Но день разломлен пополам,
и вот уже открылось нам –

и красно-золотые семена,
и горстка крупки.

Сухой отравы, злой разлуки,
коричневой горчайшей крупки
в середку счастья всыпал горсть
своей нуждой гонимый гость.

О, как бы мне о солнечной любви,
свой голос выводя вразгон, до нельзя,

о, как бы мне взять эту скорость

петь о тебе, как пел седой Луи
о престарелой Эльзе!

О, как бы мне взять эту скорость,
... вразгон, до нельзя,...

но раздвоился, сбился голос,
перехватила горло дрожь,
рука схватила, схватила воздух.
А он уплыл, расплылся в звездах,
от блеска отскочила ржа,
и не достать уже никак
его, повсюду. блеск и мрак.

И входит млечная межа
в неразделенный блеск и мрак.

ВТОРОЕ ДВОЙНОЕ СОЛЮ (НОЧЬ)

Рассыпалось вверху сиянье, прах...

А в черном, а в блестящем свете
на продолженьи каждой ветви
как знак условного плода
блестит не ягода - звезда.

... по небу - сеть ветвей до половины...

И страсть мерцает дивно, грозно,
а лобный свод ночного мозга
сквозь эту сетку тянет ввысь
свою ветвящуюся мысль...

... и ягоды запутались в ветвях...

Не в бездне, нет, не кружит, нет, не прах -
кора небесных нежных полушарий
шлет сведенья о свете, свет, - во мрак.
И в холод - о пожаре...

... ночной рябины.

И светлый мрак и жаркий холод,
как уголь и селитра - в порох
соединенные - одной
вдруг стали взрывчатой средой.

Не в бездне, нет, не кружит
и светлый мрак и жаркий холод,
нет, не прах -
кора небесных нежных полушарий
как уголь и селитра - в порох,
шлет сведенья о свете, свет,
соединенные -
о свете, свет - во мрак,
во мрак
одной
вдруг стали
сведенья о свете, свет - во мрак
и в холод -
взрывчатой средой,
и в холод - о пожаре.

ПРОЛОГ НЕБЕСНОГО ДЕЙСТВИЯ

У черного пожара черный горн.
Свод вымощен. Бульжник гладок, черн.
Здрав копыта, скачет в поздний час
крылатый перевернутый Пегас.

Огромно-тяжело, во весь опор,
оскальзываясь, прыгает он.
Скор,
могуч битюг, сдвигающий с разбега
все небо, ломовое как телега.

Так, чтобы дело не погасло,
давай ускорим скок Пегаса!
А это что там? Милый Скит - ...

ЗАНАВЕС

В мерцаньях, в темных громожденьях,
в толчках сердец, в сердцекруженьях -
во всю сплошную звездоточь
над головой твоей клубится, бьется ночь.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА

... А это что там? Милый Скит -
лопатка конская блестит,
по небу порскает Лисица,
и дивная дневная птица
летит, спасаясь от Орла,
но ранит Лебеда Стрела.
И, принуждён склоненьем ночи,
склоняет шею он за роши...
Но где ж охотник? Вот и он! -

Это выпорхнул, выпорхнул вверх в небосклон Орион.

И, вбиты весело-светло,
как гвозди в польское седло,
на узкой перевязи в ряд
три ярких гвездочки блестят.

Хоть суть их искрометна, -
в них холод инструмента,
ножа и сердца спор
и скальпелей набор.

Левей над ними - белый гейзер:
дымит, как магний, Бетельгейзе,
а ниже - Ригель стеклорез
не светит, а свистит с небес...

А в стороне - сторожкой Вега,
окном небесного ночлега
горит,
и кроткий этот вид
опасно путника манит.

Но глазу сладостны, приятны,
сияют мылые Плеяды...

СЮЖЕТ

...Бег Персея в ночи оглашает он сам звоном света
и меди, как знаком победы,
остужают бойца самый бег, и прохладная ночь,
и прохладная грудь Андромеды.
Альмах, Мирах - вот ласкам героя названья,
среди них поцелуй - Альферац.
Те же фразы и позы с тех пор повторялись не раз.
Альферац, Альмах, Мирах в обломках поспешно
разбитых цепей...
Бурный брак наблюдает из мрака, глядит недоволен,
угрюм царь Цефей,
но прищуренных глаз свет струится на всё сквозь
ресницы -
это зятю и дочери
благословение
Кассиопеи, царицы.

Но вот небесная дорога
прозрачная, ведет отлого
к отрогам неба, в тот простор,
где не окончен давний спор:

В ГЛУБИНЕ СЦЕНЫ

Днеб мерцает нежно, мокро,
и свет его ласкает окна,
он и томит, и утоляет,
и взор любой навстречу тает.

Прозрачна грусть, прохладна нега,
где виноградинкою Вега
дрожит среди небесных тел,
благословляя наш удел.

Они мерцают нежно, мокро,
их светлый свет ласкает окна,
и взор любой навстречу тает...

Любой, но только не Альтаир!

ПЕРЕД ЗРИТЕЛЯМИ

Глядит Орел насквозь, до дыр
пронзительно на мягкий мир:
следит он тем же выраженьем
и своего птенца, и жертву,
и сеть, и ловлю, и ловца,
осуществителя конца.

И в ослепительном чернейшем этом свете -
презрение к бессмертию и к смерти;
взиратель с неба тверд, и остр, и жесток:
вся грань земная, все алмазы - воск

И уж если настолько
себя разогнать до конца,
если делом считать окончательный вывод,
выход будет:
из полостей запредельных
можно выпростать пользу.

Так рябина в декабрь забросила кисть.

А на гроздь-то дрозды.
То синицы, то - вот - снегири.
Снегири на рябине
и сами-то - красные гроздья,
а за кисть
или прямо за страсть ордена;
снегири на рябине за эту посмертную пользу.

Но взамен всех красот
вместо пользы от перца
при красотке трясет,
сыплет прямо на сердце.
Бог прости страстотерпца!
Он ведь с ней визави,
и волнуют красавца
результаты любви -
что ж, давай, затрави
с ней любовного зайца.

Но когда результат убегает,
тогда
нам
до этой ли цели?
Версты, ветры потворствуют слову.
С этим делом, считай, что тебе повезло:
не красотку, - красавицу славишь.
Тем же словом и местность свою обойми -
доросла до России твоя непомерность.

Потерпевшему страсть,
как крушение и бедство,
утешение всласть
будет, если припасть
прямо к родине сердцем:
– Дай покой страстотерпцам!

Настежь грудь, да и только!
Только травля любовного зайца
удаляется за поля, за болото;
залетает за озеро
псовый тот порск,
где скотина пасется за насыпью, скосом и лесом.

Страсть не вышла,
а терпишь ее, словно боль.

И нужны ль тормоза
твоим вздохам и пеням,
если ты уже за
нетерпеньем, терпеньем?..
Отстоялась слеза,
как ни взболтан, ни вспенен,
если слово само
разрешается, слышишь ведь? – пеньем.

Святость мест, где любил.

ФИНАЛ

Святость мест,
благовест,
свет окрест,
где любил;
там, где, тысячекрыл,
ты взлетел, ты прошил
даль и ширь,

глубь и высь -
все пределы сошлись.

Только слово да свет
свету с неба - в ответ;
многолет,
благовест,
святость мест,
где любил,
где ты был
в полный рост
с головою до звезд...

Звездный шорох и хруст...
и торчащий из уст
жалоб, воплей
пылает
красный скрученный куст.

ЭТО КТО ТАМ ВО ТЬМЕ ПОЛЫХАЕТ?

Это ночь по глоткам

всю скудель выпивает,

это песня, как фразу,

тебя по слогам выпевает.

ЭПИЛОГ

Поэма кончилась, как ей хотелось - в полночь.
И вот она в молчанье продлена,
где слову отшумевшему на помощь
пришла бушующая тишина.
А слез-то было, криков, чтобы - помнишь? -
остановить беглянку. Где ж она?

Не запереть мгновения засовом,
и женщину не остановишь словом.
Она в цезурах, в паузах жила...
Но помнит Геркуланума зола
о тишине посмертной – полым лоном,
пустотами, вмещавшими тела...

А где ж мой страстотерпец дымнолицый,
где этот спящий друг, двойник, сосед,
что плел в ночи горячий полубред
и полувопль, хотя и с долей смысла?
Приснился он или со мною слился,
но я один. Его здесь больше нет.

А кто ж остался? Неужели – автор?
Но нет, в свое таинственное завтра
ушел, поставив точку, бард, певец...
И обернулся он с тоской внезапной
на песню, опустевшую вконец:
– А может быть, при ней остался чтец?

Читатель? – Нет. На то надежды мало.
Пути иные там подведены.
Итак, во тьме сердечного обвала
один лишь есть – Вниматель Тишины,
к нему мое молчание зывало!

Когда гудит орган столь мощно молча,
и бархатные бьют колокола,
и чувствуешь, как льнут к тебе из ночи
огромные прохладные тела,
поэма непрочитанная, значит,
тебя, твое молчанье сотрясла.

1965-70

ВЕЩЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ

(Начало поэмы)



Ласточкой промчи, перо,
 мимо страшного зеро,
 мимо яблочка пустого,
 мимо бездны Льва Шестова.

"Надо нам пройти сквозь нуль, -
 так он мысль свою загнул, -
 надо, чтобы свет забрезжил,
 тьмы побольше, побезбрежней..."

С бесконечностью во лбу
 долго ль оправдать судьбу
 (локон рос надлобным ворсом
 вдоль лежащей цифры 8)?

Оправдать: не ждать рассвет,
 но бурить $x - y - z$.
 (Ординату новым Дантам
 в глубь земли направить дайте!)

А судьба, являя ритм,
 в повтореньях нас творит:
 оторвавшийся от книги,
 помню, я гулял в Тавриге.

Помню воздух, полный птах,
 помню мой случайный взмах
 и - как горсть запретной доли -
 ласточку в моей ладони.

Сколько високосных лет
 (кость виска слышна здесь, нет?)
 избегал я этой темы,
 что впивалась в темя, в темень

терниями. Мозг мой вспух,
 но продолжить должен дух

ласточкин прелестный космос
вниз, в материю и косность.

И не хватит ли стращать
преисподней? Клён стрельчат,
но в развилках вижу: вектор
вниз направлен каждой веткой...

...В Петербурге жил поэт,
что накликал столько бед!
Слыша музыку событий,
он, однако, был любитель

в такт притопнуть ей. Но здесь
надобен скорее тесть
нашего поэта – химик
и лабораторный схимник,

чей холодный лобный свод
догадался, как кроссворд,
на одном листке-буклете
всё расположить на свете.

Всю материальность он
пооктавно ввел в канон.
Подготовил он творенье
к одухотворенью в пенье

и занес для жизни впредь
в нотный стан всю твердь, всю смерть, –
мол, сыграть теперь сумеете
на вселенском инструменте!

Что же ты не мчишь, перо,
в это страшное зеро,
в глубь неслыханного зова
из развернутого крова,
в неизведенное слово?

Скалистое пожатье пальцев
и голоса пустой раскат, –
состарившийся из скитальцев
могучий, убуленный скальд,

могучий угловатый Кальций,
счастливо под резцом искрясь,
всей костью ледяной оскалась,
земную укрепляет грязь.

Заёмная земная форма
в руках у костолома – хрясь –
и лопается. Пусть топорна
и жертвенна бывает связь

у плахи с головой. Собором
нам – домовина из досок.
Мы – на всемирный мертвый форум,
обратно в вещество – бросок.

Кусок его – в висок – погибни,
Орфей! Другой кусок – сосок,
пустивший из груди богини
в ночное небо млечный сок.

В пыли известняковой, в глине
перекоптив К на Ц,
кентавр, уйдя от смертной гнили,
в Центавре светит и в Стрельце,

мерцающих далёко-тускло...
Но Кальций, Кальций наш – в кольце:
веществен с мирового пуска,
он одухотворён в конце.

И, в панцирь облачив моллюска
беспомощного, сделал так,

что должен этот скользкий мускул
осмысленный носить пентакль

на раковине. Текст - а ну-ка -
пока не сплющен он в плитняк -
попробуй разгадать, наука!
Молчит, заплетена в путях

познания. Увы, ни звука...
И жесткая волна на скат
не выплеснет, тяжелорука;
уже не в силах приласкать

скалистое пожатье пальцев
и голоса пустой раскат, -
состарившийся, весь распался
на скарб вот этих строчек, скальд.

3.

Если смене дробных форм
сообщить искристый фон, -
интересно, даст ли это
вспышку в глубине предмета?

Ведь для нас мерцает вьсь,
так отбросим вовсе мысль,
что предмет непроницаем...
Мы не так же ли мерцаем?

Стуку сердца - стук в ответ:
недоверчивая твердь
вдруг распахивает двери,
всю себя тебе доверив.

Вещество, являя ритм,
нас самих само творит.

Не второе ли зарыто
сердце в глыбе монолита

(первое - в творце)? В тот миг,
что прорезался двойник
в пробужденном материале,
мастера мы потеряли.

Так сказать ли, кто был он?
Киприот Пигмалион,
с давних пор сюжет дешевый
всяких мозиклов и шоу.

Стиль, хороший тон... Бог весть,
что еще - готовят месть
из мотивов, в общем, подлых,
оклеветывают подвиг.

И пускай для всех искусств
был искусом вечным - вкус,
спуск на уровень ироний, -
мы себя да не уроним!

Вниз пойдём, взмывая вверх!
и до следующих веж,
между скалами зажать,
Кальций - первый наш вожатый.

Чтобы не жалеть потом
(результат пока - фантом),
что слепили мы нелепость, -
он дает живую крепость

призракам скульптурных форм.
Кальций - цель, и Кальций - фон,
и процесс, который начат,
чтобы плотность опрозрачить.

Хлорное дыханье дали,
блуждающий голодный взгляд, -

шляется в одной сандали,
счастливее тысячекрат,

дурнем и неряхой, Калий,
его одноутробный брат.

(Под ноги вдруг мыльный камень:
- А прочь его, и так богат!)

Нежности ножных прогалин
у отроков и дев - считать

равными привык благами
голодный балаганный тать.

Странно ли, что полигамен:
- Не все ль равно, куда влгать?... -

так это и полагает,
и вовсе не желает лгать.

Калибан и приставала,
и банный лист, а слышит: дай!

Нижнее нужней бывало,
чем горно-грозовая даль.

"Образ отвечает мало
подчас тому, что мастер ждал,

так как вещество завяло", -
не к этому ли Дант сказал?

Почва отродясь желала
(простите: перепад немал)

конского с соломой кала,
которого и минерал

жаждет получить. А Калий -
взрывающийся в нем запал.

Помните ль об аксакале,
алкающем у дряжлых скал?

Жизни эликсир нечистый
горячечно толкает в рост

травы, минерал плечистый
и (надо же, куда завез!)

светлые в ночи бесчинства, -
бесчисленные вспышки звезд.

Надобно тому учиться,
что можно перенять всерьез

разуму - у разночинца.
И голову научит торс

наголо разоблачиться.
До сути! Сухожилий трос

с мышцами сопряг ключицы
могуче, как передний мост;

двигателем подключился
к материи матерый мозг.

Всё к земле, и землю мнет
 тяготенья вязкий гнет,
 но забвение от рабства,
 пусть минутное, - прекрасно...

Так порой летучий прах
 освещен лучом впотьмах
 и любой своей пылинкой
 пляшет в радости великой.

Вещества томятся: даждь, -
 страдая того дождя,
 чья (как вызнала Даная)
 суть отнюдь не водяная.

Даже весть о нем - блага!
 С мыслью мастера - нога
 в монолите слышит внове
 музыку замлевшей крови.

Прочь из камня - первый шаг.
 Дальше - больше: шарк, да шарк,
 шаг, - и вот она - в полете
 одухотворенной плоти...

Тяготенья вязкий гнет
 всё земное в землю мнет,
 но забвение от рабства,
 пусть минутное, - прекрасно!

Так, поэтов корифей,
 листьям, скалам пел Орфей,
 чтобы адресом и целью
 стало все творенье в целом.

Ландыш, ласточка, вода,
ветер, ветвь, иголка льда,
человек с сумой потертой,
подберезовик, тетерка -

каждый к песне мог припасть,
ошутив себя как часть
крохотная сообразно
колоссальнейшего братства.

Так порой летучий прах,
позолоченный впотьмах,
каждую своей пылинкой
пляшет в радости великой.

Так горит заря в ботве.
(С клубнем - туч клубы в родстве!)
Снизошла с небесной битвы
до картофельной молитвы

кровь небесных лон и чрев.
А в земных - кроится червь,
что-то шьет в корнях, сосущих
к небу земляную сущность.

Ткань ползет, и рвется нить.
Надо чуть скрепить, смертвить,
прежде чем пустить на волю
вещество полуживое.

Чуть скрепить и чуть смертвить,
в чашку черепа залить
надо, чтобы не пропала,
не разлезлась бы опара.

В 22 карата
 магический пароль
 2 пернатых брата
 вдруг выкрикнут порой.
 Мрачные ребята!
 запрятали: не тронь! -
 адовы снаряды
 в кресчатую ладонь, -
 с запахами нарда
 и с мертвою водой.
 Вороновы надо
 скудели все - в юдоль
 опростать бы Натра:
 он, чтоб усилить соль,
 за уши был надран...
 Крепить весь мир собой
 в страхе заповедан,
 он от старанья столь
 веществом заветным
 в миропорядке стал,
 весь насквозь проветрен,
 что проверять кристалл
 Логосом и светом
 с тех пор не перестал.
 Но - до жизни - смертен,
 он не похож на сталь -
 мягок, нежен, жертвен,
 как истинный металл.
 Истым перевернем
 его мужской талант,
 женственность отвергнув,
 стал рыцарем без лат.

• Та же рефлекторность
 и гамлетовый сплав -
 тормоз и моторность!
 При том - отказ от прав

первородных, то есть
в весь мировой устав
он влагает тонус,
свой тормозя состав:
"С места, мол, не стронусь,
но, крепкий пьедестал,
усеку свой конус,
чтобы на мне стоял
отключенный Хронос.
На этом месте я
наивысший промысл
провожу бытия".

7.

Мастер плавил, мастер мял
сам себя сквозь матерьял,
но меж выдохом и вдохом
оба - в обмороке долгом.

Не успев себя скормить,
скульптор, каменная сыть,
полу-деву, полу-глину
все ж растлил наполовину.

Да, чтоб этот нижний пласт
двинулся, он должен пасть,
дабы с тяжестью в запасе
пусть падением, но спасся.

Даром ли Творящий всех
допустил тот давний грех,
дав по своему размаху
дело - слепленному праху.

Сказано, в конце концов,
что Творец творит творцов,

вольно строящих сегодня
в тьме времен до дня субботня.

Так наш мастер плавил, мял
и себя, и матерьял...
Но меж выдохом и вдохом
оба - в обмороке долгом.

Ибо этот древний грек
золотой усилил грех,
совершенству честно вторя.
Но сечение золотое

не спасет, как ни молись.
Только лишь максимализм
поведет наш путь греховный
к общей Родине духовной.

Здесь пора отвлечься вбок.
Помните? - "Бобок...бобок..." -
среди кладбищенских гниений
слышал каторжный наш гений.

Полумертвый темный бред
он в убийственный памфлет
заложил, пустив по свету
мысль бытийственную эту:

в наш вещественный состав
до смерти вырастает нрав;
как душой ни лицемерьте, -
выбормочет всё по смерти.

(Но поющий минерал
он насмешкой замарал, -
так его терзали бесы
на краю российской бездны).

...Вот и автор этих сутр
как-то вперил в перламутр
взгляд, и вымолвил случайно:
"Это - летопись молчанья!

Это - запись в лоне лон
медленных блаженных волн,
это - отсвет сокровенный
остановленных мгновений.

Это - радостная слизь,
где сгустились и слились,
и расплылись, и слепились
радуги полуслепые.

Это - праздник протоплазм,
влажно-ласковая блазнь,
жизнь ликующего сгустка,
отпечаток чувств моллюска.

Это - створчатый портрет,
оттиск музыки на цвет,
плоскость жизни нулевая,
духа в твердь переливанье!"

Что ж такое существо?
- Вещество + божество,
смешанные в общем бреньи
с вечной кармою в бореньи.

8.

Всему повтор
отыщет Йод;
всегда найдет
партнера Фтор;

хоть с кем добром
сойдется Хлор;
и на позор
польстится Бром.

Сойдет собор
с своих опор,
и, как топор,
сорвется хор,
а где затор, -
примчится, скор,
Фтор.

Зеленый взор
метнул в упор,
где взрыв, костер,
весь город стер, -
но в соль и в сор
себя простер
Хлор.

Под Божий гром
сгорел Содом.
"Отца введем
в ножной проем", -
решает днем
с сестрой вдвоем
Бром.

Бедняга Лот,
с каких щедрот,
не зная, пьет
преступный мед;
продолжить род
отца наймет
Йод.

Здесь буду принужден остановиться...
 О, похотью внушающая страх,
 как тяжело писать тебя, отроковица!
 Ты школьнику во сне вплаваешься в ресницы,
 и, старца поражающая в пах,
 о, бешеная жеребица,
 ты отлагаешься в его костях.

Дупло у древа райского посева
 (где сломан сук, там узкая дыра), -
 твое отравленное маленькое чрево.
 Плева тебя не запечатывала, дево!
 Ты бьешь в ребро, но ты не из ребра.
 До Евы ты была, а Ева
 в сравнении с тобой пресна, стара.

Зачем мое перо тебя задело?
 Теперь я чую к демону сродство.
 Казалось, до меня ну что тебе за дело?
 Но ты в моих ночах действительно радела,
 ты черпала мужское вещество,
 родник изведав до предела,
 готовая и осушить его.

Ты дерево, ты камень совращала,
 вращаясь на горячем ложе сна,
 и сколько бы любовно-отчее начало
 тебе спокойных даск, Лилит, ни расточало, -
 из тысячи "Лолит" сотворена
 набоковских, - тебе все мало,
 и растираешь дико ложесна.

Быть может, сонмы солнечного снега
 и ангелов алмазные снопы
 и вспьшки никому не ведомых энергий
 сошли, чтобы твои утихомирить недра

с мимондушей неземной тропы,
чтоб отложила ты безвредно
в суставах голени, в лучах стопы.

10.

Отбиваемый стопой,
ритм горит у нас с тобой
в качке минуса и плюса,
в совпаденьях с пульсом пульса.

Медленно дыханье пьет
изо рта прохладный рот,
и, затопленная камнем,
ты всплываешь в истукане.

Медленная смерть горит,
но живит она, велит
из веков твоих несметных
вынырнуть женою смертной.

Выдох - и огонь заглох;
тут же воскрешая, вдох
в тёмно-потайные лона
гонит искры флогистона;

вкруг нежнейших альвеол
зажигает ореол
Эроса; в делах Эола -
легкое начало пола.

Здесь могучий хитрый секс
предпочел закрытый текст,
став полудуховной тканью,
ибо "Всякое дыханье...":

вдох - амброзиальный пир!
Выдох - респир, вдох - аспир;
мыслящий, поющий Логос
и ему раскрытый лотос.

...Жил у нас один мудрец,
по еврейству жгучий спец.
Средь его опавших листьев
отыскал я пару мгlistых

истин: - О, благослови
самый жалкий акт любви,
Зиждитель! Она - не фетиш.
Ты ж - в любой любви светишь...

...Ходит рёберная клеть,
значит, хочет ярче тлеть
бликом отдаленным сила,
та, что солнце и светила

движет. Блеск ее - аспир!
Респир - освещенный мир.
Вдох - и молнией разорван
воздух с придыхом озона.

Окисляет кислород
море мировых преснот.
Выдох - и огонь на грани
полного почти сгоранья.

Что ж не наступает час,
и не сякнет звезд запас? -
Стрелки отводя обратно,
кто-то дал у циферблата

времени возвратный ход,
и пополнил теплород, -

вот что людям посторонним
стройно изложил астроном.

Полчаса свече гореть,
чтоб истаять ей на треть.
Скажем, ты ушла на сутки.
В полном здравьи и рассудке

входишь - а свеча горит!
Мистика? Астральный гид,
опыты проводит с Кроном
пулковский адепт-астроном.

Не запомнил лепку щек...
Помню: взрывчатый зрачок,
очереди многоточий...
на вопрос...: "Времен источник?.."

...Будем времена считать
по числу стигматов - 5,
если взять, что быстротечность -
это раненая вечность.

Тут идет зернистый слом:
благо, вызванное злом,
вечные инфинитивы
в инферальной, нечестивой,

чувственной - пусть будет так -
но любви! Опишем акт,
победим искус искусства,
такта не боясь и вкуса.

11.

Беспомощно забился в череп разум,
и - тишина из-под тяжелых плит.
Глаза прикрыты, но павлиньим глазом

прикосновенья вспыхивают разом -
под каждым пальцем радуга горит.
Кровь зрячая сбивается с орбит,
спеша на этот праздник протоплазм.

Ладонь богата золотом длины,
рецепторы ее поют, ликут в трансе:
благословенна вогнутая трасса,
хребтина нежная, спины
двуречье, элизейское пространство,
где сухожилья чутко сплетены.

И, чудное, как полнота разбега,
глоток полета и паденье ниц, -
конец любовной азбуки, омега,
двойное совершенство ягодиц...

Переворот страниц -
и вспыхивает блиц
из-под ресниц во тьме, белее снега.

Горит во тьме коричневая буря,
и пристальный блестит оттуда взгляд;
на глубину зубчато затененный
белок пронзительно зовет уйти назад, -
колючей проволокой пропороть грозят
сетчатку глаз ресницы обнаженной.

И собирается в прищур
терновник; яростно идет со взглядом схватка
взгляда,
зрачок зияет рвом, и так мрачна ограда,
а наготу уводит лишь одно -
шпы почти скребут глазное дно,
но взгляд не оторвать от взгляда.

Где грозно так блистает мозг, -
сместились в ядра и простор, и воля.
Взгляд искривляется, и гнет, и мнет его, как воск,
но зренье боковое,

всплывая, наготы улавливает лоск,
блеск бурного ее покоя.

В развалинах тугих крахмального тороса,
в дыханьи теневых полос
извилисто по телу свет пополз,
и вот овалы торса,
что в падающей позе распростерся,
уже смываются окраинами слез.

До слез двоится истовое зренье,
до плазм, до недр напрасно всё круша.
Пирует здесь наружная, наружная душа.
Ее - благое было с ангелом боренье,
о ней - рокочут листьями деревья,
она - и в женщине, и в буре - хороша.

1972-73

МЕДИТАЦИИ



о. Александру Меню



1.

Покатой глубиной утолена,
медлительно скользит голубизна
и в бездне опрокинутой витает;
питает и таит она одна
и слёзный, и глазной хрусталик.

Но вспыхивает грань,
голубизной наполненная всклянь
до искристого перелива,
и взгляд в голубизну летит счастливо.

И видится прозрачный взлет
в бесчисленные полосы высот,
в зенит, к живым высотам,
туда, в лазурь, блаженную, как мед,
где мысль медовая свеченье льет
и льнет к небесным сотам.

А за размытой бирюзой
и взгляд, и мысль, повитые слезой
от незаметных цветковых увечий,
целительные вызывая встречи,
в упор касаются Ресниц
и - взором проникаются Зениц,
и - Мыслью - неземной, не человеческой...

Июнь 74

2.

Воздушное струенье
и восходящий ток
вдруг вывернули зренье
под лобный потолок,

где, стиснутое в толщу,
отбросило оно
пронзительную точку
подзорное зерно.

И в разуме громоздком
тот высветило толк,
что любованье мозгом
есть первый завиток,

есть вольт самопознания,
залет в открытый храм,
и - в самое зиянье,
сияющее там...

Так, воспарив, извивы,
сдуваемые вбок,
сквозь листиков оливы
увидел голубок,

до края окоёма
катящуюся течь,
что тяжестью влекома
в излучинах залечь.

По вечной сердцевине
и вдоль изнанки век
мой замысел и выверт
сквозил навывлет вверх,

где сдавленные ткани
и веющая высь
свернулись завитками
в одну и ту же мысль,

что мы с тобой на память,
вселенная-близнец,

живыми черепами
срослись в один венец,

в один блаженный ужас.
Напружась, ум свивал
цветущую окружность,
где центром – идеал.

Да, так наименован,
с тем словом и возник
всем оболочкам новым
образчик и родник, –

самоначало смысла!
Сосок его ростка
не в лепесток развился –
в идею лепестка.

В себя же и нацелясь:
исчезнуть, облачась, –
нагая эта целость
отслаивала часть

за частью. И вставала,
спелёнута в постель,
в листы, в напластованья
спиральных лопастей, –

Мистическая Роза, –
вместилище и кров
для трепетно и розно
развернутых краев.

Край мозга и пространство
окраинных крутизн,
свирепа и прекрасна,
пронизывает жизнь.

Меж уголков и складок,
среди тенет, где нет
ни тени, - дик и сладок,
всё пронизает свет.

Весь мир светло и страшно
проскваживает дар -
божественные брашна:
амврозия, нектар...

...Душа, роток открытый,
росу небесных сот
с благословенной сытой
из вечности сосет!

Сентябрь 74

3.

Не отрицаю: знаю - не достоин...
А сердце льется в тихую зарю,
и плавлюсь я, говею и горю,
среди кристально-ясного настоя
страданье вызываю золотое,
и ужасаюсь, и благодарю.

Да, в центре, у каемки на краю,
страшит зрачок, сведенный, окаянный,
впуская мириады, океаны
Твоих сверканий, Свете мой Царю,
и я зарю за цвет благодарю,
за раны в созерцаемом сияньи.

За то, что изумительно слиянны
и зло, и благо; что каратом гвоздь

в незримую зиддительную Горсть
и - далее - в мои проник изъяны;
что муку вижу я как бы из ямы,
но высвечен до сердца и насквозь.

И вдоль извоев зренья, толщу свойств
пронизывая скрытыми путями,
нисходит луч светящимся питаньем
в глубины глаза, до животных звезд
и тканых средостений - вперехлест,
единым пульсом пусть бы трепетали

с зарей, ломимую прозрачным испытаньем!
Стопами сокровенными зари
от крестных единений изнутри
из полуклетки в полуслово прорастая,
блистая, занялась в груди живая Тайна,
открыто-золотая: ведай, зри!

И, зренье новое беря в поводыри,
лети изломами целебного простора
туда, где молодая вечность свет простерла.
Там, Душе Всеблагий, благое сотвори:
возьми частицей в тело чистое зари!
Смели мои слова в молчание простое,
смети всю тишину в пустые словари,
и да раскроются ребристые устои...

Уста серебряные... Слово золотое...

Март 75

СТИГМАТЫ



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Игорю Тальпанову

Порожний череп в чей-то след
здесь, у подножия, повержен.
И пестрый ультрафиолет
в зубцах пронзительных воздет.
И – свет! И прозревают вежды...

Да, на былых зияньях, прежде
сиявших, я поставил зет.
И вот зевающие бреши
сомкнулись. И, меня приведший,
путь восстает – иного нет.

Сюда, в таинственные грозди
Стопы благой! Но взгляд, но жест
разводит лучевые кости
в какой-то известковой злости
всей тяжестью несовершенств

земного зренья; перья, шерсть,
прозрачные тычки и остья
снуют, реснитчатые, чрез
лучистых линий – их не счесть –
и – в Язвину – ворсисты, остры...

От полужнания – вдвойне
гвоздится Модус новой жизни
в воронке узкой, там, на дне
во мне и – запредельно – вне,
полубезумием пронизан.

О, как язык и лжив и низмен!
Он кажется врага древней
с того, что радугой на призме
дробит Глагол единый, присный
на тучу флексий, тьму корней.

Дней череда у нас лоскутна.
Но стрелкой по шкале времен,
нетронута и целокупна,
скользит сейчас всё та секунда
в разрез мучительный, в изъян.

Сюда, сюда, в пропятья ран,
непотопляемое судно!
Миг настоящий, осиян,
в простертый на крест океан
один всплывает неподсудно.

Быв абсолютно лют и дик,
зане все хрящики заныли
у Тела вечного, он вник
в катастрофический родник
его прозорами сквозными.

В него сегодняшнее "ныне"
нулю равновеликий миг
вживил; и в виде голубине
оттуда тайные глубины
исторгнули структурный сдвиг.

И - новизна без дна, без края!
Кровь зоркая и не моя,
как остро-огненная стая,
мои сосуды вдоль пронзая,
проносится, меня кроя.

И - до окраин бытия,
всё заново созиждевая!
Дерзаю мыслить: это - я,
вон там, где мчится вдаль сия
частица умная, живая.

Июль 1975

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Михаилу Шварцману

В центре мыслимой фасоли
есть зачаток-светлячок,
что, разъединяя доли,
метит в теменной зрачок.

Там, едва ли не жестоко,
ибо жесток и колюч,
стигму внутреннего ока
жалом ужасает луч.

(Но что в тонкую фасетку
ввидет только вертикаль,
знают ведатели - все, кто
возрастил ее, - не я ль?)

И стремится душа любая
разум, дабы круче вник,
головные разнимая
вспышки, - в световой тайник.

Этот путь - туда - единствен.
Но едва по нем скользнул, -
он уже, двоясь, глядится
на себя сквозь польей нуль.

И, оптическому зренью
перекрещивая пласт,
иллюзорно блещет зернью
на верх потаённый лаз.

(Там, за гранью разуменья,
смысл двоения - лучись!,
и сражает ум замена
единицы - тьмою числ.)

И - в цифирь, сквозь недра мгlistых
полувысохших рацей
лэзет умственный трилистник
сразу - в тройственную цель.

На пустых толщинах мира
фокусируется знак:
ключ симметрии, мерило, -
перекрещиванье влаг.

Главное - в зеркальных безднах
двойка рыб - червя ли? - ест,
или - две Стопы небесных,
чтобы смерть избыть - на крест,

на разогнутый трезубец
грозной Пасхою взошли,
Имя - Сами образуя:
Ихтос - или Сын Или,

Элои... И вот - расплывы
ветхой жидкости - отверз -
вестью - водопад счастливый.
В дряхлый

о
т
у р о в е н ь
е
с

почкою живой привился.
И - трикрат единый - Взгляд
равно, распиная выси,
плоскую спасает гладь.

Будет ли тогда - напрасна, -
если столь любовна - боль:
трагедийностью пространства
полнится объем любой!

Вглубь себя – безмерна – точка!
Сквозь малейшую из них
в хаосе, в черевной толще
крест – лучением – возник.

И, – челом – чуть вправо, книзу, –
в каждом сходе двух осей

п
о
ж и з н ь
н
а
н
и
е
м

казнится
всюду, в явленности всей.

Глянешь, и сейчас – два бруса,
усилия крепь и связь,
серединами – упрутся,
там, в неявном, коренясь.

Первый саженец – запретной
блзани – разметал пупы, –
райской сплетни непролазной –
и – на гвоздь – приял Стопы.

(Стыдного земного знанья
в том и опыты, что несть
наигоршего за нами,
чем терзать живую десть

Истины.) Кистей, Предплечий
страшные плоды висят
на втором из поперечий,
Отчий восполняя сад.

Между бесов бесприметных
мы, спасаемые Им,
эти снадобья от смерти
и примем, и ядим.

И нацелен - в злое семя -
остро - в самую несуть
с верными Своими всеми
мировое поразить

яблоко, и всю отраву -
Меч - почти по рукоять!,
образуя знак - Державу,
Церковь или букву Ять.

Жуть, - но - нет пути иного:
мы, чтоб смысл явился нам,
чтеньем уязвляем Слово,
по рыдающим слогам

постигая Страстотерпца...
Мы! - казним под крик "распни!"

Л_ИК
ДЕСНИЦУ ШУЙЦУ
Х_РДЦ_Е
С_ЕА
М
С
П
А
С
И
Т
Е
Л
Я
С_ТУ_ПНИ.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

Сердцу Галины Рубинштейн

ЛОГОС ГЛАГОЛА БЛАГОГО
ЕМЛЕТ ЕДИНОЙ ГЛАВОЙ,
ПЛАЗМЕННО ПЛАВАЯ, - СЛОВО.

ВОЛЬНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ ВОЛЬ
СДВОЕННОСТЬ - В УСИЮ СВЕТА
СВОДИТ ПЕВУЧАЯ ВОЛЬ.

ВЗОРУ БЕЗМЕРНОМУ - ЭТО
МУЗЫКИ МУСКУЛ И КЛЮЧ.
СВЯТА ОНА, НО НЕ СПЕТА.

Только струением с круч,
ясен, звучит осиянно
дикий строительный Луч,

и - океанна осанна.
Но в перерыве рулад
паузой в музыке - Рана,

струнный разорванный лад,
равноразмерная миру
Язва зияний. Стигмат.

Дабы вонзенну и сиру
миру не стыть копиём,
вогнанным в Ребра к НАДИРУ

ВЕЧНОСТИ - через разъем
юная первоминута
прядает с ним в пра-объем.

Спектрами Света - из круто
свернутых в точку пространств -
Воду и Кровь АБСОЛЮТА

гонит крутизнами трасс -
вниз - рассеченное справа -
СЕРДЦЕ - с разрывами масс;

и - что ни музыка - лава, -
Слово, расплавясь, поет,
бьет вулканически: - Слава!

Странен межреберный Рот,
свят, как раскрытая рака;
протуберанцевый свод

в Нем пламенеет; однако
тронут изверженный цвет
некой толикою мрака.

Будучи остро задет,
СВЕТ в перепаде жестоком
нижних пределов и сред,

траченных мутным пороком, -
ими ломимый, - расцвел,
выкрасав жизнь ненароком.

Скопом коснеющих зол
скованный, стянутый порчей,
но - обнадёженный! - дол

так и взлетел бы из почвы,
и - в НЕОТМИРНЫЙ РОДНИК -
горльшком, клеверной почкой,

каждой бы клеткой проник...
Всё же - не цельны, не твёрды
младшие. Цель не про них.

Только разумные орды,
люд без лица, без конца,
могут сквозь Солнце - в АОРТЫ, -

как кровяные тельца, -
в ТЕЛО вселенское влиться.
В ГРУДЬ ДЕМИУРГА. В ТВОРЦА.

Но притязанья провинций
есть необрезанный плод.
Ведь по завету провидца

богоизбранный народ
преуготовлен заране
землям, где млеко и мед.

Изгнанный, был он изранен...
И до свершения лет
взял безоглядно Израиль

груз непостижных диет...
Сложность препонов закона...
Грозный субботний запрет...

Дабы растить неуклонно,
пестуя истинный ген,
от Авраамова лона

праведных сорок колен...
И - результат не заметить:
Девы, что тлену взамен

Спаса нам даст. - Разумеете! -
гулит в благом естестве
вся искресаяй от смерти

ДУХ СОВЕРШЕННОЙ ЛЮБВЕ.
Жарые, мурые вести!
Разом обвенчаны две -

Дева и Церковь - невесты.
С ними - одно, и от них
вочеловечась на месте,

Сердце Галактик, Жених
в наспех застеленных яслях
дремлет, и ясен, и тих.

Он ли, вися на запястьях
в координатных осях,
с миром пространств сораспаялся,

во временах воссияв?
Он - в сердяные камня
Пульсом Своим! Вся сия

сумма сердец, ойкумена,
плачет, но - мимо плывет,
как ледяная каменя.

Ниже; виток; разворот:
город святой, где прогоркла
святость, и тот же народ

слепо сверлит у пригорка
бельмами зоркий зенит;
дважды обльжно - прегорько! -

мнит: самозванца казнит...
Волей Своею раскрылись
крыльями руки абсид

храмовых; выдохнул клирос
воплъ ЭЛОИ и ЛАММА
САВАХФАНИ! СОВЕРШИЛОСЬ...

Сердь, разгораясь, Сама
режет двуребрие входа.
И - в закомар, в закрома,

в легкие вводится хорда.
Остро ползет копие
в Дискос, где Солнцем - АОРТА.

В Чашу лиясь из нее,
полнит весь мир милованьем
страшное наше питье.

Сим водосвятом мы с вами,
дабы выкрещивать дух,
грех вещества вымываем, -

самое семя разрух.
Вечная с временной кровью
третью являет из двух -

новую, богосыновью.
Всей полнотой естества,
на зло и зло-, и лже-словью,

мы, воплошаясь в слова,
СЛОВОМ ЕДИНЫМ РАДЕЕМ,
чтоб из оков вещества

выпал заплаканный демон.

Март 1976

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Якову Виньковецкому

Да. Куда ни кину взгляд, -
твой абстракт, ладонь моя ли, -
как бы наплывает слайд:
всюду на пластах реалий -
дали, дали...

Или же, в любви о нас,
так серебряно-сиренев
мир, что сам раскрыт, как глаз,
или в нас бушует зреньё
в озареньи.

Но с возгория Земли
видимый надрез эфира
мучится, рябит вдали:
ранена тепло и сыро
В нем просвира.

Мыслию - миры и лбы
творчая Рука все та же
крестит. Се одна Любы,
выраженная пусть даже
и в пейзаже.

Слово, помрачаясь в луч,
замедляется до тканей.
Выткан и почти текуч,
точит свет и протыкает
черствый камень.

Быстроту сводя на нет,
нить в Десницу студенится.
И плотнеет на просвет
загустевшая денница
вся - до низа!

И телесная звезда
испускает понемногу
ломоту лучей туда,
по припухлу и отлогу,
по отрогу...

Глянцево болит бугор.
Путь обласкивает справа
весь приплюснутый упор
гор – дабы небес держава
дол прижала.

Освещается тропа
в Кисти выпуклостью склона.
С говорящего снопа
зернь чернеет, изумленна,
миллионно.

Нами, быстрыми; жива,
страждет медленная глина,
чтобы злобы естества
общая для всех долина
утолила.

Ради пущих, вящих форм
жертвы требует полова.
На восхолмии втором,
влажно-роковом, готова
казнь для Слова.

Лоснится, горьмя кричит, –
мол, почто Меня оставил, –
содвигаема с орбит
вопиющими пластами
Длань – в суставе.

Хочет почвенная персть
скопищем несметноликим
вывести - из Горсти - весть, -
в прободеньи Слова - криком,
в зле великом.

А за сим глухим грехом
радужно горит правее
выхолмок, счастливый холм
погребенных, верой вельей
тихо вея.

И, умом пришед к земле,
(лбом, умащенным елеем), -
мы и в наигоршем зле
благо пригоршнями емлем
слабым землям.

Чтобы их глубинный сбой,
их протянутость, сиротство
в смерти укрепить собой;
и, путем зерна и роста,
в них бороться.

И еще больней - туда -
от могильного ристанья
и загробного труда -
глубже - в Руце Божьей - тайна
прорастанья.

Но еще гноится тьма.
Лишь глазки, гнилушки денег
в яме бывшего холма
светятся. (Один скудельник
рад-раденек.)

Все же, закругляясь, вид
долгим разворотом ската
фосфорически блестит,
но и накренен куда-то
вбок покато,

где, струясь горе из гущ,
как бы мимо тяготенья
бьет поток, живящ и жгуч;
топит он фантомы, тени
залетейны.

И, сорвавшись за край,
яркой мукой окаймленно,
он лиёт, играяй, ~ Грааль,
в грань лазурного излома
окоёма.

Аз через Него приях
с Кровию, меня умчавшей,
самый настоящий страх:
вправе ли стоять у Чаши
я же, я же!

Яша, я прошу тебя
здесь, в виду пропятой Пясти
друга помянуть, любя,
чтобы мне к иным напастям
в блазнь не впасть бы.

Жутко за такой предел
вывести свой центр витальный!
Дух - среди небесных тел...
Это ли - святые дали,
пустота ли?

Трепеты миров! Но здесь,
если хода нет обратно,
тонкая опасность есть:
умственная боль у брата –
вот расплата.

Как тут совместить, ответь,
как христианин-художник:
бьюсь о неземную твердь,
сердце же кому не должно
дал в ладоши.

Эта – окаянна грудь.
В ней, с твоим не одинаков,
грешен, бороздится путь...
Помоги, прошу, восплавав,
другу, Яков!

Яков!!

Май ??

ЧАСТЬ ПЯТАЯ

Раненому имени

Я женская сказала Мне мужскому:
- Я сладостную полюбил Меня.
В совсем одно был переход рискован.

Но, от раскола - скрепа и броня,
в двойном единстве Нечто Третье всплыло.
Так Мы решились перейти на-Я.

Неявная, но неземная сила,
похоже, Нас взяла наизготовь,
и Я просили, или Мы просила:

Мысль, милая, восславь, восславослось
Себя о Нас и, как бы беспристрастно,
любимой к любящему полюби любовь!

- Вот чудо, Я не знал, как Я прекрасна!
- Не знала Я, что Я не одинок...
Мы внутрь себя выходим за пространство!

В парении блаженный кувырок!
И вал небесный, и волна земная...
И ученик с учителем - в урок,

и Мы в Меня, и Я в Себя за Нами
самовкликаем в пение пучин.
И - в грозное ядро, в зеницу знанья,

где всяк есть все, и Я неотличим
от Моего Меня же - Мне другому.
Туда, в опережение причин!

Смысл молнии не выгрохотать грому.
 Но в судорогах свято-световых
 она и узрит весть яркоогромну.

Здесь перегиб сознания на свих
 с лихвой окуплен целокупным Словом:
 сквозь Нас двоих, и - в Нас троих Твоих

Сыновня Ты выросла с Тобой Отцовым.
 И, сладостно любя Тебя Твою,

Ты
 с т ы
 к р а т ы
 и с л и ц о в а н .

Лицо и Лик смешались в том краю,
 где Творчий Дух был нами вдохнут негда,
 и до сих пор Мы пьем: Ты пьешь: Я пью,

и Нас вливает непомерный Некто.
 Веками изумленная руда
 на это вытарашивает недра.

Се: Во Давидова
 Всё Всём
 Звезда.



Животворит Звезда Сия, сияя
 Сама Собою из Себя сюда.

И в Твоего Меня, в Мою Себя Я
 впускаю веселящий Свето-Дух...
 Но сердце делит Он по кромке спая...

С любимым сердцем... И разлуке вдруг
предстали Оба, леденясь и млея...
Победа Трех далась победой Двух!

Мысль Кровная, Кормящая Идея,
у любящих возьми взаимоболь, -
таинственную муку единенья, -

возьми в Себя и утоли С собой.
Сознаньем в Твой Такой Венец не вжиться,
но гнется мысль и смаргивает сбой.

И лишь немного Истины из лжицы
душа родная, ужасаясь, ест.
И превышает меры и границы

р
а
страданье
о
с
т
и
.

Боль счастья.

КРЕСТ.

О твердь, о смерть бьет Отчее Кресало,
чтоб Тихоогненный ХРИСТОС ВОСКРЕС.

В мозгу гнездится молния-красава,
и в судорогах, в срывах световых
завязывает буквицу кроваво.

И - выкриком на-И исходит вихрь,
вникая дико в раздиранье Слога,
и - рвано - внутрь, в Голеностопный сдвиг,

вниз, в Первозвук Именованья Бога!
Весь клир местоимений к Нам прильнул -
сейчас о Нас расплощится дорога!

И - жизнью - дрызнь! Но - взвизгивает Нуль,
и лопается монолит великий!
И - ввысь, не поворачивая рулб.

В грозу - насквозь! И - лебеди, и - клики!
Терзаемое И с Воскресшим И
сливаются в Одно. Единолики.

В сказуемых Перстах - молю - сожми
и оглаголь, - не яко гвоздь, но глину...
Вдохни Себя уже не в персть земли,

но в чуткую твою Всеполовину.
Расплавлюсь пеньем. Кровью в Кровь волююсь!
И Знак и признак умственно содвину.

Твой Каждый Звук есть Рана и Союз,
и мед, и яд, одним гудящий ульем!
Связует Эс с Собой свободой уз,

У втягивает душу поцелуем
надрезанного сердца. В Сердце вник,
биением Любви Его милуем,

на Божью Грудь возлегший Ученик,
Он Слово пишет Буквами Благими,
но Мир не благ и не вмещает Книг.

Лишь, становясь неисчислимо Ими,
вздымая титлы шевеленьем уст,
чуть справа, снизу Мы читаем ИМЯ,

чтим раненное ИМЯ

.С

С

у

И И

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

"Строка – совсем дитя..."	3
СЛОВА	
Медь, олово, свинец.....	7
Я живу.....	8
Идиллическая ода.....	10
Строки.....	12
Сонет.....	13
Спрявленные пути.....	14
Что-то лепечет.....	16
Грифельная ода.....	18
Слова.....	20
ВИДЫ.1	
Сентябрь, октябрь, ноябрь.....	25
Коготь.....	26
В небесной мастерской.....	28
Низкое место.....	29
Троица.....	30
Когда идет гроза.....	31
Вечная весна.....	32
Отвратись.....	33
"В руках у сплавщика..."	34
Утро вечером.....	35
На краю.....	36
Забывшему свет.....	37
Любой предлог (Венера в луже).....	38
"Как топор без топорща..."	39
ВИДЫ.2	
Виды.....	43
"Крылатый лев..."	45
Попытка тишины	47
Читайте вывески.....	50
Голубка.....	51
"До чего же она неказистая..."	53

ТРАУРНЫЕ ОКТАВЫ

Голос.....	57
Воспоминание.....	57
Портрет.....	58
Взгляд.....	58
Перемены.....	59
Все четверо.....	59
Встреча.....	60
Слова.....	60

ПЯТНА

Трое.....	63
Возможности.....	65
Вся в пятнах.....	67

ДНИ

Рукопись.....	73
Дни.....	74
Облака.....	75
Несравненной.....	77
Школа зимних пейзажей.....	78
И зрение, и слух.....	79

ЛЮДИ

"Вот солнца луч..."	83
"Жизнь достигает порой..."	84
"Себе, преображенному..."	85
"Чем правит человек..."	85
"Куда уходит жизнь..."	87
"Как бы молоды мы ни были..."	87
"Скажи, зачем..."	89

ЦВЕТЫ

Свидание.....	95
"Моя свобода и твоя отвага..."	97
"Взгляд, оттолкновение..."	98
"В сердечный переплет..."	99
Мадригал.....	101

Еще более, чем раньше.....	102
"Зима-хрустальница..."	103
Портрет.....	104
Его же словами.....	105
В руки Н.Н.	106
Белое и голубое.....	107
"Все греки были юньми..."	108
Цветы.....	109

ВОЛНЫ

Движение в морском пейзаже.....	113
Волны первые.....	115
Долгое дело.....	117
Волны.....	118

МГНОВЕНИЯ

Ты.....	127
"Фортнянский..."	128
Сюжет из Жуковского.....	129
Мгновения.....	130

ЗИЯНИЯ

"Тебя, тоскуя о твоей пропаже..."	137
"В груди гудит развал..."	138
Из глубины.....	140

НОВЫЕ ДИАЛОГИ ДОКТОРА ФАУСТА.....

НЕБЕСНОЕ В ЗЕМНОМ.....

ВЕЩЕСТВЕННАЯ КОМЕДИЯ.....

МЕДИТАЦИИ.....

СТИГМАТЫ.....

ACHEVÉ D'IMPRIMER
LE 6 JUIN 1979
PAR JOSEPH FLOCH
MAITRE-IMPRIMEUR
A MAYENNE
N° 6755